Учитель из будущего

Том первый



Антон Хорн

Учитель из будущего

«Автор»
2026

Хорн А.

Учитель из будущего / А. Хорн — «Автор», 2026

«Учитель из будущего» — Антон ХорнОсень 1913 года. Обычный человек из XXI века оказывается в Российской империи — без документов, денег и возможности вернуться домой.Впереди Первая мировая война, революция и гибель привычного мира. Он знает, что произойдёт, но знание будущего не делает его всемогущим.В небольшом уездном городке ему предстоит заново учиться жить: находить друзей, завоёвывать доверие, сталкиваться с несправедливостью, болезнями и человеческой жестокостью.Здесь люди не становятся героями лишь потому, что встретили пришельца из будущего. У каждого своя правда, свои страхи и свои решения.Можно ли изменить историю, если порой не в силах спасти даже одного человека?И что важнее — попытаться исправить будущее или не потерять себя в чужом прошлом?

© Хорн А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Чужой 5
Глава 1. Скамья у станции 6
Глава 2. Племянник из Кына 12
Часть вторая. Огурцы и рассол 14
Глава 3. Антон Иванов сын Сорокин 14
Глава 4. Младшее отделение 18
Глава 5. Погреб 25
Глава 6. Базарный день 31
Глава 7. Валенки 36
Глава 8. Амбар 40
Глава 9. Невеста 44
Часть третья. Красное стекло 47
Глава 10. Гудок 48
Глава 11. Махорка 51
Глава 12. Шпоры 56
Глава 13. Сотня 60
Глава 14. Окурок 63
Глава 15. Вексель 66
Глава 16. Обыск 69
Глава 17. Уголь 73
Конец ознакомительного фрагмента. 76

Учитель из будущего

Часть первая. Чужой



Глава 1. Скамья у станции

Он открыл глаза от холода.

Сначала был только холод: мокрый, въедливый, октябрьский. Потом запах — угольный дым, мокрое дерево и что-то сладковато-едкое, чего он никогда раньше не нюхал, но почему-то сразу понял, что это паровоз. Потом звук: где-то рядом шипело, лязгало и тяжело вздыхало железо.

Он лежал на деревянной скамье. Над головой нависал край крыши, с которого капало ему прямо на плечо. Моросил дождь.

Он сел. Скамья стояла у торца одноэтажного кирпичного здания с высокими окнами. Над дверью горел керосиновый фонарь, и в его жёлтом круге косо летели капли. Через площадь, мимо, шла баба в тёмном платке, с корзиной на локте. Она покосилась на него, перекрестилась и прибавила шагу.

Станция была знакомая и незнакомая одновременно. Он знал это место — Луховицы, он ходил здесь тысячу раз. Но не было ни платформы с навесом, ни ларьков, ни машин на площади, ни фонарей на столбах. Была раскисшая земля, две извозчичьи пролётки под рогожей и тьма за ними, в которой кое-где теплились жёлтые огоньки.

У стены мужик в армяке, ругаясь вполголоса, пытался сдвинуть телегу: колесо соскочило с оси, и мешки с картошкой мокли под дождём.

На скамье рядом лежала забытая газета. «Русское слово». Он поднял её, повернул к свету. На первой полосе говорилось о процессе Бейлиса в Киеве. Сверху стояла дата, набранная с твёрдым знаком на конце: двадцать третье октября тысяча девятьсот тринадцатого года.

Он долго смотрел на эту строчку.

Потом проверил карманы. Телефон — двадцать три процента заряда, сети нет. Ключи от квартиры. Шариковая ручка. Пачка жвачки. Денег — ни копейки, документов — никаких. На ногах белые кроссовки, которые на мокрых досках у станции светились, как сигнальные огни. Куртка на молнии. Джинсы.

На перроне, по ту сторону здания, медленно прохаживался жандармский унтер-офицер с усами. Пока он смотрел на пути.

Он сунул газету за пазуху и ушёл в темноту, огибая площадь задворками.

Дорога вышла дороже, чем казалось. За станцией была канава, и он провалился в неё по щиколотку. Потом брёл вдоль огородов по раскисшей пашне, между жердяными изгородями. Конец октября — урожай был убран, гряды перекопаны, ботва свалена в кучи. На одном огороде торчали капустные кочерыжки, на другом белели в борозде забытые репки. Он постоял над ними и не стал наклоняться. Чужое. Да и что с ней делать, с сырой репой.

Минут через двадцать он промок до колен, пальцы перестали слушаться. Зато кроссовки облепило грязью так, что они больше не белели.

Село он обходил по дальнему краю, за огородами, в полусотне шагов от изб, замирая каждый раз, когда хлопала дверь или скрипела калитка. В центре, на перекрёстке, светился двухэтажный дом с вывеской: «Чайная. Попечительство о народной трезвости». Оттуда доносились голоса и смех. Рядом белела каменная церковь. Один дом был заметно богаче прочих: каменный низ, железная крыша, фонарь у ворот.

Его начало колотить всерьёз. Ночь в мокрой одежде под открытым небом в конце октября — это было уже не приключение.

Рядом с церковью, чуть в стороне, стоял домик с огоньком в окне. Он обошёл церковную ограду и подобрался к нему с тыльной стороны, через тёмный сад. Мокрая листва глушила шаги.

У крыльца стояла будка, из неё торчала седая собачья морда. Пёс был старый, на цепи, и, кажется, дремал. А окно, выходившее в сад, было в стороне, за углом.

В окне он увидел комнату. Стол, керосиновая лампа, иконы в углу. За столом сидел пожилой мужчина с седой бородой, в тёмном подряснике, и что-то писал. У печи женщина в платке ставила чугунок. Из трубы шёл дым, и даже сюда, сквозь дождь, пахло печёным хлебом.

Он постучал в стекло.

Женщина вздрогнула и уронила ухват. Мужчина поднял голову, взял лампу и поднёс её к окну. Свет упал на ночного гостя: мокрый, грязный, в странной куртке, зубы стучат.

Форточка приоткрылась.

— Кто таков? Чего ночью по чужим садам бродишь? — Голос был строгий, но без злобы.

— Не сердись, батюшка. Путник я, заплутал. Пустишь в дом — расскажу всё как есть, без утайки. А нет — Бог судья.

Священник хмыкнул в бороду.

— «Бог судья»… Ишь ты. Говоришь вроде по-нашему, а выговор не здешний.

Он ещё раз оглядел гостя, задержался взглядом на куртке, на трясущихся руках. Женщина тихо сказала у него за плечом: «Вася, застудится ведь».

— Ладно. Ночью у порога путника не держат. Обходи к крыльцу, Полкана я придержу.

* * *

После улицы тепло обдало так, что закружилась голова. Женщина сунула ему грубое полотенце и усадила на лавку у самой печи. На столе появилась кружка горячего чая и ломоть хлеба.

Священник сел напротив, поставил лампу между ними и сложил руки на столе.

— Я отец Василий, здешний священник. Это матушка Анна. А теперь, раб Божий, как обещал — без утайки. Кто ты, откуда, и почему без шапки, без котомки и в одёже, какой я отродясь не видывал?

Он подумал о том, что сейчас скажет, и понял, что ни одна ложь здесь не сработает.

— Батюшка… Прошу, сохрани в тайне то, что скажу. Сам не поверишь, а меня погубишь.

— Клясться не стану, — покачал головой отец Василий. — Господь заповедал: «Не клянитесь вовсе». — Он помолчал и наклонился ближе. — Но если то не история, а исповедь, то тайна исповеди нерушима. Её я ни уряднику, ни архиерею, ни самому государю не открою.

Он кивнул жене. Матушка, поджав губы, накинула платок и вышла в сени.

— Ну? Исповедуешься — слушаю.

Он встал.

— Исповедуюсь, батюшка. Посмотри на меня. Поверишь ли ты, если я скажу, что родился в тысяча девятьсот девяносто четвёртом году от Рождества Христова?

Отец Василий долго молчал. Потом медленно перекрестился.

— Девяносто четвёртом… Нынче тринадцатый год. Это, выходит, через восемьдесят лет ты родился?

Он поднялся, обошёл стол и положил ладонь гостю на лоб. Рука была тёплая, пахла воском.

— Жар у тебя, вот что. Застудился, вот и мерещится.

Но руку убрал не сразу. Смотрел уже не на лоб, а в глаза. Что-то его смущало: зубы ровные и белые, каких у деревенских не бывает, руки без мозолей, а одежда сшита так, как не шьют ни в Рязани, ни в Москве.

— Я сорок лет в сане. Слышал и бесноватых, и блаженных, и просто врунов. Ты на них не похож. — Он сел обратно. — Но и поверить не могу. Чем докажешь?

На столе лежал лист, исписанный мелким убористым почерком с завитушками и ятями: «Возлюбленные о Христѣ братіе…» Рядом — деревянная ручка со стальным пером и стеклянная чернильница.

Гость достал из кармана шариковую ручку и положил на стол.

Отец Василий взял её двумя пальцами, поднёс к лампе, повертел.

— Лёгкая… Не дерево, не кость. На целлулоид похоже, из какого у господ гребни да воротнички. — Он постучал ногтем по корпусу. — Видел я в Москве у одного купца самопишущее перо, заграничное, «вечное» называется. Вроде на то похоже. — Он положил ручку обратно. — Мудрёная вещица. Только это, мил человек, ничего ещё не доказывает. Привезти такую из Америки можно и в тринадцатом году.

— Батюшка, не выгонишь ли ты меня, приняв за беса?

Отец Василий неожиданно усмехнулся, впервые за вечер.

— Бес, мил человек, в окно не стучит и от холода зубами не клацает. Он через дверь приходит, да ещё в хорошем сюртуке. — Он снял с полки небольшой крест и положил на стол рядом с ручкой. — Но для порядку перекрестись да «Отче наш» прочти. Коли можешь — так и разговор пойдёт легче.

Гость повернулся к иконам и трижды перекрестился — справа налево, тремя перстами. Отец Василий следил внимательно и кивнул: правильно.

— Каюсь, батюшка. Не знаю «Отче наш».

Священник замер.

— Не знаешь… Да у меня в селе любой мальчонка пяти лет её знает. Нищий на паперти знает. Каторжник на этапе знает. — Он опустился на стул и потёр лоб. — Крестишься правильно, по-нашему. Значит, крещёный. А молитвы главной не знаешь. Такого не бывает… Разве что там, откуда ты, её не учат вовсе.

Он поднял глаза, и в них была уже не строгость, а что-то похожее на испуг.

— Это что ж за время такое будет, что люди «Отче наш» забудут?

Вместо ответа гость достал телефон и положил его на стол.

— Посмотрите, батюшка. Только не трогайте, пожалуйста.

Отец Василий наклонился над столом, убрав руки за спину. Перед ним лежала тонкая чёрная плитка размером с ладонь. С одной стороны — гладкое тёмное стекло, в котором отражались лампа и его собственная борода. С обратной — круглые стёклышки.

— Стекло… чёрное, ровное, как вода в колодце. А это, — он кивнул на линзы, — как у фотографического аппарата, только малюсенькие. Что это, мил человек? Говори прямо.

Половица в сенях скрипнула. Матушка Анна не уходила.

— Батюшка, позовите матушку. Лучше ей самой всё увидеть.

— Позову — и исповеди конец. Я тогда буду не духовник твой, а просто хозяин, что путника приютил. И что увижу, о том волен буду и благочинному сказать, и уряднику, коли совесть велит. — Он помолчал. — Хотя Анна у меня тридцать лет как могила. И сердцем она людей вернее меня видит.

— Согласен. А там как решите. Всё равно без вас пропаду.

— Честно сказал. Это хорошо. — Отец Василий повернулся к двери: — Анна! Иди уж, всё одно под дверью стоишь.

Дверь тут же открылась.

— А как не стоять, Вася, коли ночью чужой человек в доме, — сказала матушка, ничуть не смутившись, и села на лавку у печи.

— Это телефон, — сказал гость. — С фотографическим аппаратом.

— Телефон я видал, — возразил отец Василий. — У начальника станции стоит. Ящик на стене, трубка на шнуре, ручку крутишь, барышня отвечает. И проволока по столбам тянется.

А тут ни ручки, ни проволоки. — Он погладил бороду. — Хотя пишут в газетах про беспроволочный телеграф итальянца Маркони. С «Титаника» в прошлом году так о помощи кричали.

— Да как же он маленький такой и телефон, и фотографию делает, — покачала головой матушка. — Туда ж и барышню не поместишь.

— Словам не поверю, — сказал отец Василий. — Покажи.

Он нажал кнопку.

Чёрное стекло вспыхнуло, и комната будто стала ярче. Матушка ахнула и прижала ладонь к губам. Батюшка отшатнулся, но тут же наклонился ближе.

На стекле были двое мальчишек — на покрывале в цветущем саду, в закатном солнце. Старший, лет девяти, обнимал младшего и улыбался чуть хитро. Малыш в рыжей шапочке хохотал во весь рот, рядом сидел плюшевый медведь.

— Цветная… — прошептал батюшка. — Слыхал я, господин Прокудин-Горский государю цветные карточки показывал. Но чтоб так… и светилась сама, без лампы, без огня…

Матушка Анна уже не боялась. Она подсела ближе и смотрела на малыша так, как смотрят только бабушки.

— Ваши? — тихо спросила она. — Ох, хорошенькие какие.

— Мои. Старший — Алексей, две тысячи шестнадцатого года. Младший — Матвей, две тысячи двадцать пятого. Снимал я их в двадцать шестом.

Отец Василий шевелил губами, считая.

— Через сто три года… а младший через сто двенадцать. Господи, помилуй. Мы с Анной уж давно в земле будем, а они ещё не родились.

— Алексей да Матвей, — сказала матушка и вытерла глаза краешком платка. — Хорошие имена, православные. Алексей, как Алексий, человек Божий, а Матвей — апостол, евангелист Христов. Пусть хранит их. — И вдруг, с тревогой: — А они где ж теперь? Там остались?

Он не ответил.

Отец Василий долго разглядывал латинские буквы на рубашке старшего, медведя, золотистые огоньки вокруг. Потом медленно сел и перекрестился.

— Такого в тринадцатом году не сделают. Ни в Америке, ни у Маркони, нигде. — Он поднял глаза, и голос его прозвучал глухо: — Верю.

* * *

— Если хотите, могу снять и вас, — сказал он. — Любую карточку.

Матушка посмотрела на мужа, и во взгляде её появилось что-то робкое, почти девичье.

— Вася… А ведь мы с тобой только раз и снимались. В Зарайске, на венчание, тридцать два года тому. Та карточка уж выцвела вся.

— Ну, Анна, суета это…

Но видно было, что ему и самому хочется. Он поправил подрясник, пригладил бороду и сел рядом с женой на лавку, под иконами. Матушка торопливо поправила платок, перенесла лампу на полку поближе и подкрутила фитиль.

— Снимай, коли можешь. Только скажи, сколько не шевелиться. В Зарайске фотограф велел минуту сидеть, не дыша.

— Три секунды, батюшка.

Телефон тихо щёлкнул. Матушка вздрогнула, но не шевельнулась, честно досиживая свои три секунды.

Он повернул к ним экран.

Они были там оба, как живые: батюшка строгий, с чуть прищуренными глазами, матушка в светлом платке, руки на коленях, за ними золотые блики окладов. Каждая морщинка, каждая нитка на подряснике.

Матушка Анна смотрела долго, потом тихо засмеялась и тут же заплакала.

— Вася… это ж мы. Какие старые-то стали. — Она провела пальцем по воздуху над экраном, не решаясь коснуться.

— Три секунды… — наконец сказал отец Василий. — А в Зарайске минуту сидели. И то вышли, как покойники.

Потом он встряхнулся.

— Ну, Анна, будет. Человек мокрый насквозь. Дай ему Петрушину одёжу, что в сундуке лежит. — И пояснил гостю: — Сын наш, Пётр. В Москве служит, по железной дороге.

Телефон он выключил совсем. Двадцать процентов. Батюшка проводил гаснущее стекло взглядом, будто прощался с чудом.

* * *

— Теперь слушай, — сказал отец Василий, когда матушка ушла за перегородку и загремела крышкой сундука. — Утром по селу пойдёт молва, что у попа чужой ночевал. Урядник спросит, кто таков. Бумаг у тебя нет. Надо придумать, кем ты будешь. Что умеешь делать?

— Грамоте обучен. Арифметике. Только у нас она немного другая. Дайте лист, покажу.

Батюшка пододвинул бумагу и чернильницу. Гость щёлкнул кнопкой — батюшка вздрогнул от звука — и ручка побежала по бумаге ровно, без клякс, ни разу не макнув в чернила.

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я. И ниже цифры.

Отец Василий поднёс лист к лампе и долго водил пальцем по строчке.

— Цифры наши. А азбука… Ятя нет. «И» десятеричного нет. Фиты нет, ижицы нет. А «Е» с точками везде ставишь. — Он отложил лист и задумчиво посмотрел на огонь. — Ещё лет десять назад академики в Петербурге затеяли азбуку упростить. Наш архиерей говорил: «Через мой труп». — Он невесело усмехнулся. — Выходит, переупрямили архиерея.

— Это что ж, Вася, и в Писании так писать будут? — спросила матушка, заглядывая через плечо со стопкой одежды в руках.

— Писание будет как у вас, матушка, — сказал гость.

Она облегчённо перекрестилась.

— А ну-ка задача, — оживился батюшка. — У купца сто двадцать пудов ржи по рублю двадцать за пуд. Продал он три четверти, а за остаток взял на гривенник дороже. Сколько выручил?

— А что такое гривенник, батюшка? Прости, не обучен.

Отец Василий удивлённо поднял брови, полез в карман подрясника и высыпал на стол горсть монет.

— Гривенник — десять копеек, — он поднял маленькую серебряную монетку. — Алтын — три копейки. Пятиалтынный — пятнадцать. Двугривенный — двадцать. Полтина — пятьдесят. Целковый — рубль. Без этого на базаре пропадёшь: скажет тебе торговка «пятиалтынный», а ты стоишь, глазами хлопаешь, тут тебя и обсчитают.

Гость считал вслух. Девяносто пудов по рублю двадцать — сто восемь рублей. Тридцать пудов по рублю тридцать — тридцать девять.

— Сто сорок семь, — кивнул отец Василий. — Верно. Только ты у меня «кг» написал. Килограммы — это французская мера, на базаре засмеют. Пуд, мил человек, пуд.

Он откинулся на стуле и посмотрел на гостя уже с явным уважением.

— Счёт знаешь, пишешь бойко, хоть и чудно. Такой человек в конторщики годится, в счетоводы, в приказчики к купцу. У нас огородники огурцы да капусту в Москву возами гонят, а считать толком некому. — Он погладил бороду. — Теперь про бумаги. Скажем так: ехал ты на заработки, а в поезде тебя обокрали — и деньги, и паспорт унесли. Дело обычное. Я

засвидетельствую, что ты человек смирный и крещёный. Выдадут временное свидетельство, а там и паспорт выправить можно.

Матушка выразительно кивнула на стопку одежды:

— Вася, дай ты человеку переодеться. Простынет ведь.

* * *

Петрушина рубаха оказалась широковата в плечах, порты пришлось подвязать потуже, пиджак висел мешком. Зато всё было сухое и тёплое. В картузе и пиджаке он стал похож на мастерового — только руки слишком гладкие да стрижка не по-здешнему.

— Батюшка, — сказал он, — дозволь на крыльце постоять, воздухом подышать. Постоишь со мной?

Отец Василий молча снял с гвоздя тулуп и вышел следом.

На крыльце было свежо и сыро. Дождь почти стих, только капало с крыши. Полкан высунул из будки седую морду, обнюхал чужие носки в Петрушиных сапогах, вздохнул и спрятался обратно. Своих не облаивают.

Село спало. Где-то мычала корова, в чайной на площади ещё светилось одно окно. Далеко за полем протяжно гудел паровоз.

— Не за воздухом я вышел, батюшка. Хотел, чтоб матушка не слышала. Беда грядёт большая.

Отец Василий не удивился. Только кивнул медленно.

— Понял я. Говори. Я старый, выдержу.

— Война. Очень большая война. И не одна. В четырнадцатом году — с Германией. Её назовут Первой мировой. В семнадцатом — революция, и царя убьют. В сорок первом — снова Германия. Я уже тут, и этого не избежать. А вот вас с матушкой и Петрушу спасти можно.

Отец Василий отшатнулся, как от удара.

— Царя… убьют? Помазанника Божия?

Он схватился за перила, и было видно, как трясутся у него руки. Долго стоял, закрыв глаза, губы шевелились. Потом открыл глаза, и в них был уже не страх, а тяжёлая ясность.

— Анну и Петрушу — спаси, коли знаешь как. Тут я тебе в ноги поклонюсь. А меня не надо. Я пастырь. У меня в селе восемьсот душ. Коли беда придёт, бросить их и бежать — это не спасение, это Иуда.

— Я такой же обычный человек, как вы, батюшка. Не могу я никого по велению руки отправить. Если есть родня на Урале — может, туда. Только не на восток, не к Маньчжурии.

Отец Василий невесело засмеялся.

— Анна не оставит меня. Тридцать два года вместе, она за мной и в Сибирь пойдёт, и в могилу. А Петруша упрямый, в меня. Скажешь ему «беги», так он назло останется. Тут хитрее надо. Время есть: год до войны.

Он положил тяжёлую ладонь гостю на плечо.

— А то, что ты обычный человек, это не грех. Господь и рыбаков в апостолы брал, не царей. — Он помолчал. — Ты мне одно скажи до утра. Что ты сам-то здесь делать будешь? Сидеть и ждать беды — или что?

— Раз Господь отправил меня сюда, значит, так надо. А сидеть и ждать — непозволительная роскошь.

Отец Василий кивнул, и в темноте было видно, как он чуть улыбнулся в бороду.

— Вот это по-нашему. Значит, не зря Полкан тебя не облаял.

Глава 2. Племянник из Кына

Матушка постелила ему на печи старый тулуп. Его куртка и джинсы сохли у трубы, кроссовки были отмыты и стояли на припечке.

Печь была горячая, пахла хлебом и овчиной. Внизу, при свете лампадки, отец Василий читал вечерние молитвы — негромко, нараспев, на церковнославянском. Многие слова были непонятны, но звучали они странно спокойно, как дождь за окном.

Потом он вдруг понял, что батюшка перешёл на ту самую молитву. И, кажется, нарочно читал её медленнее и громче, чем нужно. Для него.

Отче наш, иже еси на небесех!
Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Матушка Анна тихо вторила мужу, слово в слово.

Батюшка прочёл её трижды. А он лежал в темноте и повторял про себя то, что успел запомнить, и где-то на «хлеб наш насущный» его утянуло в сон.

* * *

Разбудил его колокол. Не праздничный — размеренный, будничный звон к заутрене. За окном было серо, дождь кончился, по краям стёкол белела изморозь.

Отца Василия в доме уже не было. Матушка хлопотала у печи: на столе пшённая каша, крынка молока, хлеб.

— Проснулся? Вася в храме, служит. Велел тебя накормить да из дому не выпускать, пока не вернётся. — Она поставила перед ним миску и покосилась на сложенную одежду из будущего. — Ты это лучше прибери куда подальше. Люди глазастые.

Пока он ел, она села напротив, подпёрла щёку рукой и тихо спросила:

— Он мне не скажет, я знаю. Да я и не спрашиваю. Только одно: Петруша… будет жив?

За окном послышались шаги, кто-то громко высморкался.

— Митрич, сторож, — выглянула матушка. — От храма идёт. Он уж, небось, к утру всё село обошёл.

Он спокойно сгрёб куртку, джинсы и кроссовки и закинул в дальний угол печи, за тулуп. Матушка одобрительно кивнула и задёрнула занавеску на лежанке. Её вопрос так и повис без ответа. Она поджала губы и больше не спрашивала.

Дверь распахнулась без стука. На пороге стоял невысокий жилистый старик лет шестидесяти: седая щетина, заячий треух, армяк, подпоясанный верёвкой. Пахло от него махоркой и холодом. Маленькие цепкие глаза сразу нашли гостя.

— Здорово, матушка, — пробасил он, стаскивая треух и крестясь на иконы. — Батюшка велел передать: гостя после обедни в храм привести, в сторожку ко мне. — Он оглядел гостя с ног до головы: Петрушин пиджак, короткую стрижку, гладкие руки. — А ты, значит, и есть гость. Мимо меня вчера на станции никто не проходил, а у батюшки ночевал. Чудно. Сам-то откуда будешь, мил человек?

— Из-под Перми. Племянник я, сестры матушки Анны.

Матушка и бровью не повела. Только ухват поставила к печи чуть резче обычного.

— Он самый, Митрич. Сестры моей Пелагеи деверя сынок, отца дьякона Никифора племянник. С Перми ехал на заработки в Москву, да вот к нам завернул.

— Племяш, значит… — Митрич неторопливо сворачивал самокрутку. — А чего ж ночью, да не со станции, да без котомки? Племяши к тёткам днём ездят, с гостинцами.

— А то ты не знаешь, какие на чугунке воры! — не растерялась матушка. — Обчистили его в вагоне до нитки, и деньги, и бумаги, и узел. Вот и шёл впотьмах, стыдился людям на глаза показаться. Я его, горемычного, полночи отпаивала.

Митрич сочувственно поцокал, но взгляд остался цепким.

— Беда, беда… А говор-то у тебя, парень, не пермский. Пермяки окают, а ты как московский приказчик говоришь. — Он ухмыльнулся щербатым ртом. — Звать-то тебя как, племяш?

— Антоний. А вас?

— Антоний… По-церковному, стало быть. Антон, значит. — Митрич надел треух. — А меня Дмитрием Ильичом крестили, а кличут все Митричем. При храме сторожу, звоню, дрова колю. Тридцать лет уж.

На пороге он обернулся:

— Окать-то поучись, Антон. А то урядник наш, Савельич, не я — он вопросы до конца задаёт.

И, подмигнув матушке, ушёл.

Матушка Анна медленно выдохнула и опустилась на лавку.

— Ох, Господи… Сестру Пелагеей звать, это я правду сказала. Мужа её — отец дьякон Никифор. Село Кын, под Пермью. Запомни. — Она помолчала. — У Никифора братьев трое, все по деревням под Пермью разбросаны, кто где. Скажешь — сын Ивана, старшего. Иван с семьёй в лесу на заводе работает, туда и почта-то раз в месяц ходит. А коли урядник в Пермь отпишет…

Она посмотрела на него с тревогой и вдруг улыбнулась сквозь неё:

— Ну да ладно. Пока отпишет да ответа дождётся, Вася что-нибудь придумает. Доедай.

Так у него появилось имя.

Антон.

Часть вторая. Огурцы и рассол

Глава 3. Антон Иванов сын Сорокин

До конца обедни оставалось полтора часа, и сидеть нахлебником Антон не смог.

Матушка Анна сперва замахала руками: «Сиди, гость ведь». Но, увидев, что он настроен всерьёз, сдалась.

— Ну, раз невтерпёж — в сенях дрова, неси охапку. А потом воды из кадушки в чугун натаскай.

Он таскал дрова, потом воду. Чугун был огромный, ковш тяжёлый, и делалось всё это не так, как он привык, но делалось. Матушка поглядела на его ладони и хмыкнула:

— Мозоли-то есть, да не те. Огородные, видать, а не от топора да косы. Ну ничего, обвыкнешь.

Потом она усадила его чистить картошку, сама села рядом с решетом гречки и вдруг сказала:

— А «Отче наш» вместе учить будем. Ты повторяй за мной.

Она читала по строчке, перебирая крупу, а он повторял. Она поправляла ударения, терпеливо, по много раз. А между строчками рассказывала о селе.

Урядник Савельич — мужик неглупый и въедливый, но взяток не берёт; с ним надо честно, насколько можно. Купец Кузьмин — тот самый каменный дом с железной крышей; скупает у огородников огурцы и капусту и возит в Москву, жадный, но умных людей ценит. А огородники — главный здешний промысел. Луховицкие огурцы на всю Москву славятся.

К концу часа он, запинаясь, но уже без подсказок, дочитал молитву до конца. Матушка довольно кивнула и перекрестила его.

Потом она ставила самовар к приходу мужа, а он учился его раздувать: шишки в трубу, сапог сверху, качать голенищем, как мехами. Самовар скоро запел.

— Вот теперь ты хоть на племянника похож, — засмеялась матушка. — Наши мужики самовар раздувать умеют, а городские стоят да смотрят.

Ударил колокол. За окном заскрипели шаги, и в дверь заглянул Митрич, уже без самокрутки.

— Пошли, Антон. Батюшка ждёт.

Матушка сунула ему в руки узелок с пирогом:

— Это Васе отнесёшь, он с утра не евши.

* * *

Днём село выглядело иначе. Бабы у колодца, мальчишки гоняют гуся, у чайной пара мужиков. Все провожали их взглядами, кто-то шептался. Митрич важно здоровался с каждым и громко пояснял:

— Матушкин свойственник, из Перми! Обокрали его, горемычного!

Слух теперь пойдёт быстро. Но хотя бы свой.

Сторожка оказалась бревенчатой избушкой у церковной ограды. Отец Василий сидел за столом, уже без облачения, в подряснике. Перед ним лежали лист бумаги, перо и чернильница.

— Садись. Митрич, ступай пока, дров наколи. — Когда сторож неохотно вышел, батюшка чуть усмехнулся: — Митрич сказывал, ты Антоном назвался. Да ещё Никифору племянником приходишься. Это Анна, видать, сочинила, у неё голова быстрая. Имя-то хоть настоящее?

— Настоящее, батюшка. Родители Антоном нарекли. — Он положил на стол узелок. — Слышал я, чревоугодие — грех. Но матушка вам поесть передала.

Отец Василий рассмеялся, впервые от души.

— Чревоугодие — это когда пятый пирог в себя пихаешь, а соседу не даёшь. А когда после обедни голодный священник кусок хлеба съест — это не грех, это Анна заботится.

Он перекрестил пирог, разломил пополам и протянул половину гостю.

— Держи. Ты тоже не барин, чтоб смотреть, как другие едят. Ну, что надумал за ночь? Чем жить станешь?

— Не знаю, батюшка. Думаю, Господь не послал бы испытаний, которые не осилить. Обузой вам не буду. Наверное, пойду в Москву.

Отец Василий нахмурился.

— В Москву — это успеется. А сейчас ты там без бумаг да без знакомых в первую же неделю пропадёшь. Ночлежки, Хитровка, полиция облавами ходит. Беспаспортного в участок, а потом этапом «на родину», в Пермь. А в Перми тебя никто не знает.

Он загнул палец.

— Сперва бумаги. Волостное правление у нас тут же, в селе. Старшина мне не откажет, я его детей крестил. Месяц-другой — и будет тебе временный вид. — Второй палец. — Потом дело. Здесь, на месте, под присмотром. Кузьмину счетовод нужен: он мне на Покров жаловался, что приказчик его обворовывает, а поймать не может. Или при школе. Учительница одна на сорок ребятишек, помощник ей нужен. Платят гроши, зато уважение.

— А в школе что делать?

— Пока она с одним отделением занимается, ты с другим. Младших читать да писать учить, старшим задачи задавать. Порядок держать — мальчишки у нас бойкие. Рублей восемь в месяц от епархии, да родители кто дровами, кто яйцами. — Он хмыкнул. — Только письму учить надо с ятями да с фитой. А ты их не знаешь. Придётся сперва самому у Марии Петровны поучиться. Вот смеху будет: учитель за партой.

— А Кузьмин?

— Федот Игнатьевич, купец второй гильдии. Дед его ещё крепостным был, а теперь, вишь, дом каменный. Скупает огурцы, капусту, лук, солит в бочках и гонит в Москву. Держит лавку, даёт мужикам в долг до урожая. Прижимист, слова лишнего не скажет, но что пообещал, то сделает. Неграмотных за людей не считает, а умных уважает, сам-то еле расписывается. Вдовец. — Батюшка постучал пальцем по столу. — А беда его — приказчик Гаврила. Книги ведёт, деньги принимает. Кузьмин чует, что тот ворует: бочек отправили столько, а денег пришло меньше. А поймать не может. Найдёшь вора — он тебя озолотит. Только Гаврила не дурак, и родни у него в селе полно. Наживёшь врага.

— А в школе целый день?

— Помилуй Бог! С восьми до двух-трёх, а по воскресеньям уроков нет. — Отец Василий вдруг замолчал и прищурился. — Постой-ка… Так выходит, у тебя полдня свободных. Утром в школе, а после обеда к Кузьмину книги смотреть. И Гаврила особо не насторожится: учитель школьный, мол, по-соседски купцу пособляет.

Он посмотрел на гостя с хитрецой.

— Не прост ты, Антон. Или это я не прост.

— Раскрыли вы мой замысел, батюшка.

Отец Василий довольно хлопнул ладонью по столу.

— Ну и ладно, что раскрыл. Значит, так: сейчас в волостное правление, после — в школу, а к Кузьмину вечером, после вечерни. Я с ним сперва сам поговорю, наедине. Купец к чужому сразу не пустит, а к батюшкиному человеку — может. — Он взял перо. — Прошение я напишу, а ты подпишешь. Да не своими новыми буквами. Фамилию какую писать будем? У Никифора с братьями фамилия Сорокины. Значит, и ты Сорокин.

— Быть по сему.

Стальное перо скребло бумагу. Первый раз он поставил кляксу, батюшка крякнул, но со второго раза вышло сносно:

Антонъ Ивановъ сынъ Сорокинъ

— Для мещанина сойдёт, — кивнул отец Василий, присыпая подпись песком. — Пошли.

*** * ***

Волостное правление — бревенчатый дом с крыльцом на площади, напротив чайной. Внутри было накурено, пахло сургучом и мокрыми валенками. На стене портрет государя и икона. За столом с бумагами сидел писарь — худой, в очках и потёртом сюртуке. В углу у печи дремал старшина, грузный, бородатый, с медной бляхой на груди.

Старшина при виде батюшки встал и подошёл под благословение. Батюшка коротко объяснил: свойственник, обокрали в поезде, прошение о выдаче временного вида. Старшина махнул писарю — оформляй, мол — и снова сел к печи.

Писарь макнул перо.

— Так-с. Сорокин Антон Иванов. Сословие? Года рождения? Где крещён? И где именно украли?

— Заводской я, можно сказать. Отец на заводе работает, и я там сколько себя помню. Тысяча восемьсот восемьдесят первого года. Крещён в выселках, их уж лет десять как нет — все разъехались, и лес поглотил. А поезд… — Он потёр лоб. — Доехал до Рязани, ко мне подсели двое. А потом ничего не помню. Хорошо, до батюшки с матушкой дошёл.

— «Заводской»… такого сословия, сударь мой, нет, — пробормотал писарь, записывая. — Заводские у нас по бумагам крестьяне. Стало быть, крестьянин Пермской губернии. Тридцать два года. — Про поезд он слушал внимательнее и даже отложил перо. — Опоили, значит. Третий за осень такой, Пахом Ильич. Майданщики на Рязанской дороге озоруют.

— Беда, беда, — сонно кивнул старшина.

— Только вот что не сходится, сударь, — прищурился писарь. — Из Перми в Москву через Вятку да Вологду ездят. А вы через Рязань. Это ж через Самару крюк какой. Чего ж так?

Отец Василий стоял с непроницаемым лицом, только пальцы на чётках побежали чуть быстрее.

— Видать, сам Господь меня к батюшке направил. Я ж на заработки ехал, мне хоть через Самару, хоть через Вологду. Божественный промысел таков.

— Истинно, — одобрительно крякнул старшина. — Пути Господни неисповедимы.

Писарь перевёл взгляд с одного на другого, вздохнул и снял очки.

— Промысел в протокол не впишешь. А «следовал на заработки кружным путём» — впишу. — Он снова надел очки. — Остаётся приход. Как село называлось и какой там храм? Без этого прошение в уезд не пойдёт.

— Отец Василий, не помните, где дяде моему Никифору дьяконство дали? Молод я был, не упомнил.

Батюшка ответил спокойно, будто так и задумано:

— Никифор в Кыне служит, при заводской церкви. Кыновской завод, Пермского уезда. А выселки, где парня крестили, к тому же приходу были приписаны. Выселок нет, а книги в Кыне. Так и пиши.

Писарь писал, шевеля губами: «…приходъ села Кынъ…»

— Ну вот, это другое дело. Прошение пойдёт в уезд, в Зарайск. Запрос в Пермь — месяца два, а то и три. А покуда… — Он достал бланк, что-то вписал и с хрустом поставил печать. — Временное удостоверение от волости. Что прошение подано и личность засвидетельствована. Месяц действует, потом продлим. Урядник спросит — показывайте.

Он протянул сероватый листок с лиловой печатью. Старшина поднялся от печи и неожиданно хлопнул Антона по плечу:

— Обживайся, Сорокин. Нам грамотные нужны.

На крыльце отец Василий выдохнул и тихо сказал, не поворачивая головы:

— Через три месяца из Перми ответ придёт, что Антона Иванова Сорокина в Кыне не крестили. До той поры тебе надо стать в селе своим. Да таким, чтоб за тебя и старшина, и купец горой встали.

Он кивнул на соседнюю улицу.

— А теперь в школу.

Глава 4. Младшее отделение

Школа была длинной избой под тёсовой крышей, с большими окнами и вывеской «Церковно-приходская школа». Ещё с улицы слышался гул голосов: кто-то хором тянул таблицу умножения.

Внутри было тесно и жарко от печи. Длинные парты, на каждой по пять-шесть ребятишек: мальчишки стриженые, девочки в платочках. На стене карта Российской империи, портрет государя, икона с лампадкой, классная доска. У доски стояла учительница — лет двадцати двух, худенькая, в тёмном платье с белым воротничком, волосы туго убраны. Мел в руке, глаза усталые, но живые.

Ребятишки при виде батюшки вскочили и нестройно затянули: «Здрав-ствуй-те, ба-тюшка!»

— Садитесь, садитесь. Мария Петровна, вот вам помощник, как обещал. Антон Иванович Сорокин, человек грамотный и в счёте силён.

Мария Петровна оглядела его с ног до головы, задержалась на мешковатом Петрушином пиджаке, и во взгляде её мелькнуло вежливое сомнение.

— Очень приятно, Антон Иванович. — И чуть лукаво: — В счёте, говорите, силён? А у меня старшее отделение задачу третий день решить не может. Не покажете?

Она протянула мел и кивнула на доску:

> **Изъ двухъ городовъ, разстояніе между которыми 240 верстъ, вышли одновременно навстрѣчу другъ другу два поѣзда. Одинъ шёлъ со скоростью 35 верстъ въ часъ, другой — 45. Черезъ сколько часовъ они встрѣтятся?**

Двенадцать пар глаз со старших парт смотрели с любопытством. Кто-то хихикнул в кулак.

— Здравствуйте, Мария Петровна. С удовольствием. — Он взял мел. — Найдём скорость сближения поездов. Тридцать пять да сорок пять — восемьдесят вёрст в час. А теперь всё расстояние делим на эту скорость. Двести сорок на восемьдесят — три. Через три часа встретятся.

В классе стало тихо.

— «Скорость сближения»… — медленно повторила Мария Петровна. — Как просто. А я им третий день объясняю, что первый поезд за час проедет столько-то, а второй столько-то, и путаю всех вместе с собой.

С задней парты вихрастый мальчишка лет двенадцати, не дождавшись разрешения, выпалил:

— А ежели они друг от дружки поедут, так это скорость раз… разближения?

Класс прыснул. Мария Петровна нахмурилась, но губы у неё дрожали от улыбки.

— Это Ванька Кузьмин, — шепнул батюшка. — Купцу внук.

— Антон Иванович, когда сможете начать? — Сомнения во взгляде учительницы уже не было. — Мне бы младшее отделение отдать, хоть на два часа в день. Они самые бестолковые и самые шумные.

— А почему не сейчас?

Мария Петровна вскинула брови и расцвела:

— Господи, да я только рада!

Отец Василий одобрительно кивнул, благословил класс и ушёл: после вечерни он обещал зайти, вместе идти к Кузьмину.

* * *

Младшие сидели в дальнем углу избы, у окна, за двумя длинными партами. Четырнадцать ребятишек лет восьми-девяти. Носы шмыгают, кто-то болтает ногами, двое тихонько щиплют друг друга. Перед каждым грифельная доска и грифель. Рядом — маленькая доска на треноге и простой табурет.

— Первый год учатся, — объяснила Мария Петровна вполголоса. — Читают по складам. Счёт до двадцати, складывать на пальцах. Вычитание — беда, никак не поймут.

Она ушла к средним. Четырнадцать пар глаз уставились на него. Девочка с косичкой в первом ряду робко подняла руку:

— Дяденька, а вы теперь наш учитель?

Он сел на табурет.

— Здравствуйте, дети. Я не совсем ещё учитель, я помощник Марии Петровны. Давайте познакомимся. Меня зовут Антон, а тебя?

Девочка покраснела до ушей и прошептала:

— Дуня… Авдотья Лукина.

И тут прорвало плотину. Все разом тянули руки и кричали, перебивая друг друга: «А я Федька!» — «Гришка Бочаров!» — «Мы Сенька и Стёпка, мы близнецы!» — «Он Петька, он у нас бестолковый!» — «Ай, сама ты!»

Со стороны средних Мария Петровна застучала линейкой:

— Тише там! И учителя по имени-отчеству зовут. Антон Иванович!

Ребятишки разом замолкли и смотрели: отругает или нет.

— Вот видите, Мария Петровна ругается. А нам разве это надо? Давайте попробуем ещё раз. Я буду подходить к каждому, а отвечать будет только тот, к кому я подошёл. Договорились? Кивните, если да.

Кивнули дружно, даже близнецы — одновременно. Только веснушчатый мальчишка не удержался и громким шёпотом сообщил:

— А нам говорили, вы из Перми! Взаправду?

Слух, пущенный утром Митричем, обогнал его и здесь.

Он пошёл вдоль парт. Каждый, к кому он подходил, вставал и отвечал, остальные молчали, хоть и ёрзали. Дуня Лукина — тихо, глядя в пол. Федька Сычёв — бойко, руки по швам, как солдат. Гришка Бочаров — басом, нарочно, чтоб смешно было. Сенька и Стёпка Гуровы — оба разом. Маня Кузьмина — важно, в новом платке и сапожках: сестра того самого Ваньки, купеческая внучка. Петька Рябов — бойко, веснушчатый, тот самый. Настя, Груня, Ваня Малый, Тимоша, Лиза, Клим — кто громко, кто шёпотом.

Последний, щуплый мальчик у окна, промолчал. Смотрел и молчал, губы сжаты. Соседка шепнула:

— Это Егорка. Он не говорит. У него тятьку летом на станции задавило.

В избе стало тихо. Мария Петровна обернулась от средних и с удивлением посмотрела на дальний угол: младшие впервые за год сидели смирно.

* * *

— Вот мы и познакомились. В честь знакомства предлагаю похлопать. Только тихонечко, чтобы Мария Петровна не заругала.

Ребятишки переглянулись — хлопать на уроке? Петька первым, хитро прищурившись, начал хлопать кончиками пальцев, почти беззвучно. За ним остальные. Вышел смешной

шелест, как мыши в соломе. Близнецы хлопали локтями друг о друга, Гришка держал ладони в вершке одну от другой, Дуня хлопала очень серьёзно и сосредоточенно.

И Егорка у окна тоже два раза тихонько соединил ладони. Не глядя ни на кого, но соединил.

— Знаете, я тут запамятовал. Мария Петровна просила что-то с вами сделать, а я забыл. Покормить? Вроде нет. Отругать? Да вы же самые хорошие дети. Придётся идти к Марии Петровне, а она меня отругает. Может, подскажете? Только руку поднимайте и ждите, пока спрошу.

Вверх взлетел лес рук. Близнецы тянули обе сразу. Петька аж подпрыгивал и мычал сквозь сжатые губы, но молчал — уговор! Даже Дуня, покраснев, подняла руку до плеча.

— А, вспомнил! Посмотрел на ваши ручки и вспомнил. Счёт!

Он стал называть числа по порядку: кто знает — тихонько топает правой ногой, кто нет — левой. Первая заминка случилась сразу: какая правая-то? Дуня шёпотом подсказала соседям: «Правая — та, какой рукой крестимся!» Все украдкой перекрестились, проверили, и дело наладилось.

До десяти топали дружно, будто дождик по крыше. С одиннадцати пошёл разнобой. К двадцати правой топали только Маня, Петька, Федька, Дуня. И Егорка. Он топал правой на каждое число. Тихо, не поднимая глаз от окна.

— А теперь мне нужны четыре добровольца. На очень ответственную игру.

Руки взлетели. Он выбрал Петьку, Лизу, Клима и Ваню Малого и поставил их у доски лицом к классу. Ваня от волнения встал на цыпочки, чтобы казаться выше.

— Ребята, сколько ваших товарищей стоит рядом со мной? Покажите на пальцах.

Четыре показали почти все. Груня сперва показала пять, глянула на соседку и поспешно загнула один. Гришка показал три и ухмыльнулся: Ваня Малый, мол, такой маленький, что не считается. Егорка руки не поднял. Но на парте, у самого края, его ладонь лежала с четырьмя вытянутыми пальцами.

Он написал на доске крупно: 4.

— Сенька, Стёпка, встаньте рядом с товарищами. А теперь сколько? Не показывайте, просто поднимите руку.

Руки поднимались не сразу, по одной. Гришка руки не тянул, сидел надувшись.

— Гриша? А ты разве не знаешь?

— Знаю. Шесть, — буркнул Гришка, не глядя. И ещё тише, с обидой: — Только меня всё одно не берёте.

— Гришечка, подойди к доске. Ты правильно сказал, шесть. А как нам из четырёх сделать шесть? Напишешь?

Гришка взял мел, помял в пальцах и медленно, с нажимом, так что мел крошился, вывел: 4 + 2 = 6. Только шестёрка у него вышла задом наперёд, животиком в другую сторону. Сзади кто-то хихикнул, Гришка вспыхнул и уже готов был бросить мел.

Но Дуня с первой парты громким шёпотом, совсем не насмешливо, сказала:

— Гриша, а плюс-то правильно! И ответ правильно!

— Ты большой молодец, Гриша. Только животик у шестёрки в другую сторону.

Гришка стёр шестёрку рукавом — Мария Петровна бы ахнула — и вывел заново, правильно. Отступил на шаг, посмотрел и вдруг расплылся в широкой щербатой улыбке, первой за весь урок. Дуня, а за ней и остальные без всякой команды зашелестели тем самым мышиным хлопком.

— Можно я тут постою? — спросил Гришка. — С ними?

Теперь у доски стояли семеро. Ваня Малый старательно пересчитал товарищей и громко шепнул: «Шесть!» Лиза схватила его за руку и ткнула его же пальцем ему в грудь: «А себя-то?!» Ваня ошарашенно поглядел на свой палец. «Ой… Семь!»

Класс прыснул. Егорка смотрел на Ваню, и уголок рта у него чуть дрогнул.

Он стёр пример, написал 7 и сказал:

— Петя, Лиза, Клим, Ваня — садитесь.

У доски остались трое. Класс притих. Ребятишки смотрели то на семёрку, то на троих стоящих, и на лицах шла напряжённая работа мысли.

— Кто понял, что сейчас произошло?

Руки поднимались одна за другой. И вдруг у окна случилось то, чего никто не ждал: Егорка медленно, неуверенно, до половины поднял руку. И тут же испуганно опустил глаза, будто сам не понял, как это вышло. Соседка по парте ахнула.

— Маня, как ты думаешь?

Маня встала, одёрнула передник и ответила чётко, как по писаному:

— Было семеро. Четверо сели. Осталось трое. Это отнимать называется. Семь без четырёх — три. Дедушка так на счётах в лавке делает, когда сдачу даёт.

— Ой… — громко выдохнула Груня. — Так вот оно что — отнимать…

— Запишите каждый у себя: что надо сделать, чтобы наша семёрка стала двойкой?

Грифели заскрипели. Через пару минут он пошёл вдоль парт. У большинства было 7 – 5 = 2. У Стёпки подозрительно тем же почерком, что у брата. Настя перепутала, что отнять, а что получить. Клим поставил плюс по привычке, а ответ верный. Ваня Малый нарисовал на всю доску большую двойку и рядом пять человечков, перечёркнутых крест-накрест.

Егорка доску не поднял. Но когда Антон проходил мимо, было видно: там аккуратно, ровным почерком написано 7 – 5 = 2. Мальчик тут же прикрыл доску рукавом.

Мария Петровна взяла со стола колокольчик:

— Большая перемена!

— Ну что, понравилось? Если да — теперь можно очень громко!

Секунду ребятишки не верили своим ушам. Потом Петька попробовал первым — «Да-а-а!» — и прорвало всех. Четырнадцать глоток, топот, хлопки, Гришка свистнул в два пальца, с печной полки упал чей-то валенок. Старшие и средние, не понимая, в чём дело, захлопали за компанию. Вся изба гудела, как улей.

Наконец ребятишки гурьбой вывалились на улицу, на ходу хватая тулупчики и узелки с хлебом. Мария Петровна подошла к нему. Лицо строгое, а глаза выдавали.

— Антон Иванович… У нас так не принято. Если инспектор из епархии… — Она осеклась и засмеялась, прикрыв рот ладонью. — Младшие год у меня вычитания понять не могли. А вы за полчаса.

— Мария Петровна, давайте с моими методами повременим. Я хотел бы поговорить с учеником.

Она проследила за его взглядом и понизила голос:

— Егорка Ветров. С лета ни слова не сказал. Отец его на станции сцепщиком работал, в июле между вагонами задавило. Мать вдовой осталась с тремя, поденщицей у Кузьмина на засолке. Я и ласково пробовала, и строго, и батюшка с ним говорил. Молчит. А учился лучше всех.

Она накинула платок и вышла во двор.

* * *

В избе остались двое. Егорка сидел за последней партой у окна — маленький, щуплый, в великоватом армячке, видно, отцовском, перешитом. Рукав всё так же прикрывал доску. Узелка с хлебом у него не было.

В кармане Петрушиного пиджака лежала половина матушкиного пирога, завёрнутая в тряпицу, — та, что батюшка отдал ему в сторожке.

Антон сел напротив, развернул тряпицу, положил пирог на парту рядом с рукой мальчика. И отвернулся к окну.

Тишина. Со двора доносились крики ребятишек, где-то лаяла собака.

Краем глаза он видел: Егорка смотрит на пирог. Долго. Потом на него. Потом снова на пирог. Наконец рука медленно выползла из-под рукава. Мальчик отломил кусочек и ел маленькими укусами, очень аккуратно, подбирая крошки с парты. Видно было, что голоден, но ел так, будто боялся, что отнимут.

Съев почти половину, он вдруг остановился. Молча разломил остаток надвое и пододвинул один кусок обратно.

И тоже повернулся к окну.

Из окна было видно поле, за ним станция и блестящие под серым небом рельсы. По ним медленно полз товарный состав, пыхтя паром. Егорка смотрел на него не отрываясь.

Антон взял оставшийся кусок, съел, не отводя глаз от окна, и тихо спросил:

— Скучаешь?

Мальчик не ответил. Поезд уходил всё дальше, только дым ещё висел над полем. Потом Егорка едва заметно кивнул. Один раз.

По щеке у него скатилась слеза, потом вторая. Он не всхлипывал, не утирался. Сидел неподвижно, будто боялся пошевелиться. Прошла, наверное, целая минута. И вдруг очень тихо, хрипло, словно голос отвык работать:

— Он мне паровоз обещал показать. Изнутри. Где машинист.

Губы у него задрожали.

— Не успел.

Он сам испугался собственного голоса и вжался в скамью.

— Показать я тебе его пока не могу, — так же тихо сказал Антон. — Но могу рассказать.

Егорка медленно повернул голову. Глаза мокрые, красные, но в них что-то мелькнуло. Не радость ещё — любопытство.

— Вы… знаете? Как там, внутри? — Он вытер нос рукавом отцовского армяка и придвинулся на ладонь ближе. — Тятя говорил, там огонь в топке, как в аду, а машинист его не боится. И свисток. И рычаги всякие.

— Всё так. Топка, и в ней адски жарко. Рычаги, чтобы паровоз ехал, и гудок. А ещё паровоз тянет не только вагоны, но и уголь для своей топки. Возит с собой то, что ест. А ещё у него есть вода. Знаешь где?

Егорка наморщил лоб.

— В котле? Вода в котле кипит, и пар машину толкает. Как у самовара крышку подкидывает, только сильнее. — Голос понемногу крепчал. — А уголь в тендере. Это вагончик такой, сразу за паровозом. Тятя их цеплял и отцеплял. Там и вода тоже, в баке…

— Именно так.

На лице мальчика появилось что-то похожее на улыбку, слабую, неуверенную, но настоящую.

— Тятя говорил, я, как вырасту, машинистом буду. Не сцепщиком, как он. Машинистом. А для этого счёт надо знать хорошо. И грамоту.

Он посмотрел на свою доску, где было написано 7 − 5 = 2, и больше не прикрывал её рукавом.

Дверь скрипнула. На пороге стояла Мария Петровна — зашла за чем-то и замерла, услышав голос Егорки. Прижала ладонь к груди и не двигалась, боялась спугнуть. Мальчик сидел к ней спиной.

— Будешь, — сказал Антон. — И не просто машинистом, а главным. Только трудиться надо много. Но ты справишься. Я тебе помогу.

— Правда поможете?

Он кивнул. И Егорка кивнул в ответ, коротко, по-мужски, будто сделку заключил. Потом взял грифель и старательно вывел ниже: 7 – 2 = 5. Подумал и добавил: 7 – 7 = 0. И посмотрел: правильно?

— Всё правильно, Егорушка.

Мария Петровна у двери тихо утёрла глаза уголком платка и так же тихо, на цыпочках, вышла. Со двора донёсся её голос, неожиданно звонкий:

— Дети! Ещё пять минут гуляем!

— Попить не хочешь? Урок скоро.

Егорка встал, пошёл к ведру у двери, жадно выпил ковш, так что вода стекала по подбородку. Потом зачерпнул ещё и понёс ковш обеими руками, чтобы не расплескать.

— Вам тоже. Пирогом-то запить.

Устами младенца, подумал Антон. И выпил. Вода была холодная, колодезная, чуть отдавала железом.

* * *

Пока они сидели в избе, пошёл первый снег. Ребятишки ввалились с перемены, отряхивая с плеч белую крупу, и несколько человек с удивлением заметили, что Егорка сидит прямо, а доска у него лежит открыто.

Мария Петровна, проходя мимо, тихо сказала, не останавливаясь:

— Спасибо вам.

А вслух, для всех:

— Младшие, сейчас чтение. Антон Иванович, останетесь? Или вам на сегодня довольно?

— Если позволите, останусь. Если только вы сами не хотите побыть с этими чудесными детьми наедине.

Она чуть порозовела и строго поджала губы, но глаза смеялись.

— Наедине с ними, Антон Иванович, я уж год как. Оставайтесь, сделайте милость.

Она раскрыла потрёпанное «Родное слово» Ушинского. Дуня читала нараспев, по складам, водя пальцем по строчке. Антон заглянул в книгу: ять в «бѣлый», «снѣгъ», «лѣсъ», твёрдые знаки на концах слов, которые никто не произносит. Отличный урок и для него самого.

А Петька тем временем исподтишка рисовал на своей доске паровоз, прячась за спиной Федьки.

— Мария Петровна, простите, но Дуне, думаю, довольно. Продолжит… Федька.

Федька вскочил по-солдатски. И Петька, лишившись прикрытия, оказался на виду у всего класса: сгорбился над доской, высунув язык, и дорисовывал паровозу трубу с дымом. Пару секунд он не замечал, что что-то изменилось. Потом почувствовал тишину, поднял голову и обнаружил, что на него смотрят все.

Он медленно-медленно перевернул доску рисунком вниз и сделал невинное лицо.

— Паровоз у тебя отличный, спору нет. Но у нас урок чтения, Петя. Будь добр, отложи паровоз и присоединяйся к нам.

Петька моргнул: ждал выволочки, а тут похвалили. Расплылся до ушей.

— Ладно, Антон Иваныч!

Перед тем как спрятать доску, он украдкой показал рисунок Егорке. Тот посмотрел и чуть кивнул: мол, хороший. Петька засиял ещё больше.

Читали по очереди. Ваня Малый — по складам, с пыхтением. Петька — бойко. А когда очередь дошла до Егорки, класс замер. Он читал тихо, но ровно, без единой ошибки. Мария Петровна прикусила губу.

К трём часам прозвенел колокольчик, общая молитва, и ребятишки высыпали на улицу. Снег уже лёг тонким слоем.

— Мария Петровна, можно попросить? Нет ли у вас лишнего учебника по чтению? Хочу почитать до понедельника.

— Лишнего у нас ничего нет, сами видите. Но на воскресенье дам, только берегите.

Она протянула «Родное слово» с чернильным пятном на обложке и тоненькую серую брошюрку: «Правописание буквы ять. Для учащихся». Последнюю — чуть смущённо.

— Это вам, может, пригодится. Я заметила, вы в букварь заглядывали… На заводах, говорят, по-разному учат. У меня в училище тоже яти мучением были. Там стишок есть для запоминания: «Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ…» С ним легче.

На крыльце, запирая школу на висячий замок, она обернулась:

— До понедельника, Антон Иванович. Егорка завтра на базаре с матерью будет, у кузьминского лабаза. Если вдруг увидите…

Не договорила, махнула рукой и ушла по заснеженной улице.

Он шёл к дому батюшки с двумя книжками за пазухой. Село в первом снегу было тише и чище. Пара встречных баб поздоровалась первой:

— Здравствуйте, Антон Иваныч.

Слух про школу его опять обогнал.

Глава 5. Погреб

После обеда матушка всё-таки нашла ему дело.

— Воды бы принести. Колодец через два двора. Коромысло в сенях.

Коромысло оказалось коварной штукой. Пустые вёдра болтались и били по коленям, а полные норовили расплескаться на каждом шагу. Бабы у колодца с интересом наблюдали, как «учитель из Перми» прилаживается, и одна, сжалившись, показала: плечо под середину, руками придерживать дужки, идти мелко и плавно. Со второй ходки вышло почти прилично. Бабы одобрительно кивнули. А он заодно понял, что у колодца новости расходятся быстрее телеграфа.

Дома матушка, сливая воду в кадку, сказала как бы между делом:

— Вася тебе про Гаврилу, кузьминского приказчика, сказывал? Я ничего не говорю, грех судить. Только на Покров Гаврила себе сапоги хромовые справил, жене шаль кашемировую, рублей за пять, а сыну гармонь. При двенадцати рублях жалованья. Бабы у колодца уж шепчутся. — Она вытерла руки о передник. — Ну, это я так. К слову.

Колокол ударил к вечерне.

* * *

Храм внутри был тёмный и тёплый, пахло воском и ладаном. Горели свечи перед иконами, на клиросе пели два старика и девушка, Митрич в углу продавал свечки. Народу было немного, человек тридцать.

Впереди, у самого амвона, стоял грузный мужчина лет пятидесяти: окладистая рыжеватая борода, добротная поддёвка, начищенные сапоги. Крестился широко и размашисто, и народ держался вокруг него на почтительном расстоянии. Кузьмин — догадаться было нетрудно.

А чуть позади, через пару человек, — мужчина помоложе, лет тридцати пяти, с аккуратно подстриженной бородкой и масляно зачёсанными волосами. Новенькие хромовые сапоги поскрипывали каждый раз, когда он кланялся. Он то и дело косился на Кузьмина.

Гаврила.

После службы, выходя из алтаря уже в подряснике, отец Василий нашёл Антона глазами и чуть заметно кивнул на дверь: подожди снаружи.

На паперти смеркалось, снег падал в свете единственного фонаря. Кузьмин вышел, тяжело ступая, и, не глядя по сторонам, направился к своему каменному дому. А Гаврила задержался. Скрипнув сапогами, он спустился с паперти и остановился прямо перед Антоном. Улыбался широко, но глаза были холодные, оценивающие.

— А ты, стало быть, тот самый учитель из Перми? Наслышан. Бабы сказывают, ты ребятишек за полчаса вычитать выучил. Ловок в счёте, значит?

— Что Господь даровал, того не отнять, мил человек.

— Истинно. Даровал — не отнимешь. — Гаврила придвинулся ближе и понизил голос, будто по-дружески. — Только ведь всякому своё. Учителю — ребятишки, купцу — торговля, приказчику — книги. А когда кто в чужие книги нос суёт, оно, бывает, нехорошо выходит. Нос-то и прищемить могут.

Он выпрямился и снова заулыбался, уже на публику:

— Это я так, к слову. Ну, бывай, учитель. Заходи в лавку, гостем будешь.

Скрипя сапогами, он ушёл в темноту.

— Чего хотел? — спросил отец Василий, запирая храм.

— Сказал, не совать нос не в свои дела. Счёта моего забоялся. Теперь ухо востро держать придётся, как бы не напакостил. Вы сами говорили, родни у него полсела.

Батюшка помрачнел.

— Почуял, значит. Кузьмин сам на прошлой неделе в лавке при людях кричал, что бочки с деньгами не сходятся. А тут ты, «в счёте силён», у меня живёшь, а я у Кузьмина духовник. Два и два сложил. — Он взял Антона за локоть. — Половина мужиков ему должна, он через лавку в долг даёт, а записывает, как ему надо. Ночью один не ходи. На станцию не ходи. В лавку к нему не заходи, что бы ни звал. Но теперь тем паче к Кузьмину идти надо, и не откладывая. Пока Гаврила ему в уши не напел.

* * *

Каменный дом Кузьмина стоял на площади, у ворот горел фонарь. Во дворе брехал цепной пёс. В сенях пахло кислой капустой и дёгтем, вдоль стены стояли бочки и мешки. И ещё с порога из горницы донеслись голоса: один густой, басовитый, второй — уже знакомый, масляный.

Гаврила успел первым.

Дверь распахнулась, и он вышел, на ходу надевая шапку. Увидел батюшку — поклонился: «Благословите, отче». Увидел Антона — и улыбка на миг застыла. Ничего не сказал, только проскрипел сапогами мимо, задев плечом.

Батюшка вошёл в горницу один. Минут десять из-за двери слышалось то недовольное басовитое ворчание, то долгий спокойный голос отца Василия. Потом стало тихо.

— Заходи, Антон.

Горница была большая, жарко натопленная. В углу иконы в серебряных окладах, лампада. На столе самовар, толстые конторские книги, счёты и чернильница. Часы с маятником, портрет государя. Кузьмин сидел, расстегнув поддёвку, и смотрел исподлобья. Девушка лет восемнадцати с толстой косой налила чаю, опустила глаза и выскользнула в соседнюю комнату.

— Гаврила сказывает, ты беспаспортный бродяга и батюшку нашего вокруг пальца обвёл, — сказал Кузьмин. — А батюшка сказывает, ты человек честный и в счёте дока. Мне кому верить?

— А что слова? Счёт свой могу на деле доказать. А обманул ли я отца Василия — тут слова неуместны, Бог мне судья.

Кузьмин хмыкнул, и в глазах мелькнул интерес. Он подтянул к себе книгу и раскрыл на развороте.

— Сентябрь. Отправка солёных огурцов в Москву. Гаврила писал. Сочти, сколько всего бочек ушло и на сколько денег.

Он положил рядом счёты, но смотрел с усмешкой.

Четыре отправки: сорок бочек, тридцать шесть, сорок пять, тридцать восемь. Все по четыре с полтиной.

— Сто восемьдесят, сто шестьдесят два, двести два с полтиной, сто семьдесят один. Итого сто пятьдесят девять бочек на семьсот пятнадцать рублей пятьдесят копеек. Как будто всё правильно.

Кузьмин посмотрел на него, потом на счёты, к которым тот так и не притронулся.

— Без костяшек… Гаврила с костяшками полчаса возится.

— Только у меня вопрос. Кто наполняет бочки? И кто проверяет, что в каждой одинаково товара?

Кузьмин откинулся на стуле.

— Огурцы у мужиков принимаю я сам или Гаврила, на весах, пудами. Солят бабы-поденщицы в амбаре, при них старшая, Лукерья. Набили, рассол залили, забили — и в погреб. На

станцию везут работники. Отправку оформляет Гаврила. В Москве бочки принимает Сидоров, оптовик, и шлёт деньги переводом. Гавриле, потому как я грамоте плохо знаю.

Он замолчал, и лицо его потемнело.

— А проверять… Гаврила и проверяет. — Он грохнул кулаком по столу так, что звякнули стаканы. — Вот то-то и оно!

Потом наклонился через стол:

— Ладно, учитель. Возьмёшься вора найти? Найдёшь — не обижу. А не найдёшь, да Гаврилу зазря оговоришь… — Договаривать он не стал.

— Есть у вас бочки, готовые к отправке? Если их взвесить, посмотрим. Может, Гаврила и ни при чём. Только знать ему об этом не надо.

Кузьмин прищурился, и на губах появилась недобрая довольная усмешка.

— А ты хитёр. Есть. Тридцать бочек в погребе, на вторник к отправке. Весы в амбаре, десятичные. — Он повернулся к двери: — Степан!

Вошёл работник, тот, что отворял калитку: здоровенный молчаливый мужик лет сорока с бородой лопатой.

— Степан у меня с малолетства, ещё отец мой его подобрал. Гавриле не родня и Гаврилу не любит. Нынче ночью, как село уляжется. Часов в десять. Отче, вы с нами?

— Мне в погребах по ночам с фонарём делать нечего, — покачал головой отец Василий. — Если что — я свидетель, что вы меня звали, а я дома спал. Так оно и вернее.

Кузьмин протянул руку, тяжёлую и мозолистую. Рукопожатие было крепкое, оценивающее.

— В десять Степан за тобой зайдёт.

Когда они выходили, из-за занавески соседней комнаты на миг мелькнуло девичье лицо.

* * *

Ужинали картошкой с молоком. За окном падал снег.

— Мария Петровна в лавке была, сказывала, — тепло сказала матушка. — Про Егорку-то. Говорит, заговорил с тобой. Полгода молчал, а тут…

— Фому, отца его, я отпевал, — сказал отец Василий, глядя в стакан. — Хороший мужик был, непьющий. Вдова его, Прасковья, теперь у Кузьмина на засолке, у Лукерьи под началом. С утра до ночи в рассоле, руки до мяса разъедены. Трое ребят на ней. — Он поднял глаза. — Она там всё видит, как бочки набивают. Только запугана, работу потерять боится.

Матушка долго молчала, теребя край скатерти. Потом спросила тихо, будто решилась:

— Антоша… а там, у тебя… жена есть? Алексей да Матвей, сыночки твои, на карточке-то… С кем они теперь?

Батюшка положил ладонь ей на руку, но не остановил.

— Есть, матушка. Осталась жена, Ольга, с детьми нашими. Но там ещё мама моя, Татьяна. И сестра жены с мужем — Светлана и Евгений. У них две дочери, Варвара и Лиза. Справятся…

Матушка охнула и утёрла глаза краешком платка.

— Ольга… Бедная. Ну, мать с ней, сестра с мужем. Родня — это сила. Бабы всё вытянут.

Отец Василий поднялся и взял с полки лист и перо.

— Давай-ка так. Я их в записку о здравии впишу. На проскомидии поминать буду. Мы того не знаем, как молитва через сто лет доходит, а Господь знает.

Он писал медленно, проговаривая вслух:

— Ольгу… Алексея… Матвея… Татьяну… Светлану… Евгения… Варвару… Лизу… Лиза — это по-церковному Елисавета. Так и запишу.

Имена встали столбиком, с ятями и твёрдыми знаками, над ними крестик.

Матушка вдруг взяла его руку в свои, тёплые и шершавые.

— А мы тут тебе родня будем. Пока что. Слышишь?

— Спасибо вам. Я вас ничем не разочарую.

Ходики показывали без четверти десять. Под окном заскрипел снег, и в дверь глухо постучали.

— Степан, — сказал батюшка.

* * *

Матушка перекрестила его на дорогу и сунула в карман горбушку. Степан ждал на крыльце, огромный в тулупе, с потушенным фонарём. Кивнул молча и повёл задами, огородами, мимо бань. Снег перестал, небо прояснилось, мороз щипал щёки. Ни огонька в окнах.

У задней калитки кузьминского двора ждал сам хозяин в накинутом тулупе. Без слов открыл, провёл через двор к низкой двери погреба, отпер тяжёлый замок. Только внутри Степан зажёг фонарь.

Погреб был длинный, со сводчатым кирпичным потолком, холодный. Пахло рассолом, укропом и дубом. Вдоль стен в два ряда стояли бочки, на каждой мелом номер, от одного до тридцати. У входа — десятичные весы: железная платформа, стойка с коромыслом, набор гирь.

— Тридцать бочек, — сказал Кузьмин. Тени плясали на сводах. — Все взвешивать — до утра провозимся. С какой начинать?

— Федот Игнатьич, а если постучать — у полной и полупустой звук разный?

Степан простучал ближнюю бочку: у днища глухо, у края чуть звонче.

— Пустоту-то услышишь, — пробасил он, впервые подав голос. — Где воздух, там гулко.

— Да только хитрый человек пустоту не оставит, — покачал головой Кузьмин. — Огурцов недоложит, а рассолу дольёт доверху. Стучи не стучи — звук одинаковый. В бочку кладём восемь пудов огурца, рассолу уходит около четырёх, сама бочка полтора пуда тянет. Полная должна весить тринадцать с половиной. А Сидоров в Москве платит за бочку, считая, что в ней восемь пудов огурца.

— Тогда посмотрим на подтёки. Где рассола больше положенного, может, сочилось, дерево разбухло. И покачать слегка: если огурцов меньше, слышно будет, как ходят.

Кузьмин переглянулся со Степаном и одобрительно крякнул:

— Дельно. Свети.

Разбухли все бочки одинаково. Но у бочек с двадцать первой по тридцатую вокруг шпунтов белели свежие подтёки соли, а у первых двадцати шпунты были сухие.

— Двадцать первую и дальше на прошлой неделе забивали, — пробормотал Кузьмин.

Степан, упираясь плечом, осторожно наклонял бочки по одной. Большинство молчали, будто литые. Но у двадцать третьей и двадцать седьмой при наклоне изнутри послышался глухой мягкий стук, словно огурцы перекатываются и толкаются о стенки. Плотно набитые так не ходят.

— Степан, есть здесь бочка, за которую ты ручаешься?

Степан хлопнул ладонью по седьмой.

— Эту при хозяине набивали, в начале октября. Гаврила тогда в Зарайск уезжал. Я сам огурец принимал, сам крышку забивал.

Втроём, кряхтя, закатили её на платформу. Степан двигал гири, пока коромысло не встало ровно. Тринадцать пудов двадцать фунтов — ровно по норме.

Потом подозрительные. Двадцать третья — тринадцать пудов двадцать шесть фунтов. Двадцать седьмая — тринадцать пудов двадцать пять.

Лицо у Кузьмина вытянулось.

— Они тяжелее честной? Так выходит, Гаврила не ворует, а, наоборот, переложил? Ничего не понимаю.

— А кто их потом взвешивает?

— Сидоров в Москве принимает по счёту, не по весу. Бочки целые, клеймо моё на месте — платит. Весит их только чугунка, на станции, когда в вагон грузят. Провоз-то по весу. Квитанции Гаврила забирает, а мне в книгу одну сумму переписывает.

— Перевес он записывать не стал бы, его легко поймать. И из своего кармана платить за него не станет. Тут что-то ещё.

Кузьмин тяжело сел на бочку. Фонарь потрескивал. Потом Степан, будто вспомнив, медленно сказал:

— Хозяин… А ведь в сентябре Гаврила Лукерье велел рассол круче варить. Соли больше класть. Я сам мешки на засолку таскал, вдвое против прошлого году. Бабы ругались, руки у них от того рассола до крови.

— Соли больше? Зачем? Огурец от лишней соли только горчит…

Антон вспомнил матушкин рассказ про Прасковью, про её разъеденные руки. Крутой рассол тяжелее простого. Огурцов недокладывают, а пустоту добивают густым рассолом, и бочка весит не меньше честной.

— Степан, проверь солёность.

Степан ловко выбил деревянную пробку из седьмой, макнул палец, попробовал и кивнул: обычный. Кузьмин попробовал тоже — солоно, укропом пахнет, как всегда.

Потом двадцать третья. Степан сморщился и сплюнул на земляной пол. Кузьмин макнул палец, попробовал и замер.

— Горечь… Язык дерёт. Такой рассол огурец за месяц в тряпку превратит.

Двадцать седьмая — то же самое.

Кузьмин медленно выпрямился. В свете фонаря было видно, как наливается кровью его лицо.

— Стало быть, огурца недокладено, а рассолом крутым добито, чтоб по весу не хуже честной вышло. — Он сжал кулаки. — А огурец-то куда? Я его у мужиков по весу принимаю, плачу. Куда девался?

— Федот Игнатьич, кое-что мы уже нашли. Давайте по домам, утро вечера мудренее. Главное — не делать спешных выводов. И, простите, не начистить никому лицо. Я возьмусь за ваше дело, если пообещаете никак не выдать, что уже знаете. Пока мы всё не выясним.

Кузьмин долго стоял, тяжело дыша. Потом выдохнул сквозь зубы и разжал пальцы.

— Лицо, говоришь… Ох, хотелось бы. Да ты прав. Гаврилу сейчас тронешь — отопрётся. Скажет: Лукерья пересолила, бабы недоложили, а я при чём. — Он перекрестился на тёмный угол погреба. — Слово купеческое. Ни словом, ни взглядом не выдам. Буду с ним ласков, как с родным. Тяжко, но буду.

Он достал из-за пазухи кошелёк и отсчитал на крышку бочки пять серебряных рублей.

— Это задаток. Не за найденное, а чтоб ты не голым ходил. Завтра пятница, базарный день, Гаврила до обеда в лавке будет. Приходи ко мне с утра, книги покажу: и приёмную, и отправочную. Сиди, считай сколько хочешь.

Степан забил шпунты и откатил бочки на места, стерев рукавом свежие следы на мелу.

* * *

Окно в доме батюшки ещё светилось. Полкан, узнав его, только вздохнул в будке.

Матушка встретила в сенях, молча оглядела — цел ли — и только тогда перекрестилась. Батюшка уже спал за перегородкой.

Антон встал перед иконами в красном углу. Лампадка светила тёплым красноватым огоньком. Он перекрестился и прочёл вполголоса «Отче наш». Один раз запнулся на «яко на небеси и на земли», но дальше пошло ровно, до самого «избави нас от лукаваго».

За спиной матушка тихо прошептала: «Аминь». Он обернулся: она стояла у печи и улыбалась. Совсем как мама.

— Выучил, — сказала она. — Ну, ложись, Антоша. Завтра день большой.

Он подождал, пока матушка уляжется за перегородкой, и тихо спустился с печи. На столе белел листок с именами: Ольга, Алексей, Матвей, Татьяна, Светлана, Евгений, Варвара, Елисавета. Он положил сверху три серебряных рубля, один к одному. В красноватом свете лампадки они тускло поблёскивали на именах его родных. В руки ни батюшка, ни матушка денег бы не взяли.

В кармане остались два рубля.

Последнее, о чём он успел подумать, засыпая на тёплой печи: где-то в селе сейчас лежат куда-то спрятанные огурцы. А где-то через сто тринадцать лет спят Алексей и Матвей.

Глава 6. Базарный день

Проснулся он от запаха блинов. За окном было ясно и морозно, снег искрился на солнце. С площади доносился гомон: базарный день, телеги с капустой, мычание, крики торговок.

Отец Василий сидел за столом. Перед ним лежал листок с именами, а рядом аккуратной стопкой — три серебряных рубля. Он молча смотрел, как гость спускается с печи.

Матушка у печи переворачивала блин и демонстративно не оборачивалась.

— Это что ж такое, Антон? — наконец сказал батюшка. Голос ровный, но строгий. Не дождавшись ответа, он пододвинул монеты к краю стола. — В дом не возьму. Ты нам не постоялец, а мы не корчмари.

Потом помолчал и положил ладонь на записку.

— Но раз ты их на имена своих положил… значит, это за них. Жертва. — Он сгрёб монеты. — Отдам Прасковье Ветровой, Егоркиной матери. Скажу: от доброго человека, за здравие рабов Божиих. Ей с тремя к зиме ни дров, ни валенок. Так годится?

— Воистину, батюшка, — Антон чуть улыбнулся. — Ума не приложу, откуда они взялись.

Отец Василий посмотрел на него поверх бороды и вдруг фыркнул в усы.

— Ну, стало быть, ангел занёс. Ночью. Через трубу. Ангелу и спасибо скажем.

Матушка не выдержала и засмеялась в голос, прикрываясь передником. Впервые за всё время.

За блинами со сметаной батюшка напомнил: Кузьмин ждёт, Гаврила до обеда в лавке. А матушка добавила, наливая чай, что Прасковья с Егоркой по пятницам на базаре, у кузьминского лабаза: отпускает огурцы с бочки в розницу.

— Где она живёт, матушка? На базар к ней идти — худое дело. Все глаза там, да и Гаврила рядом.

— И верно. Живёт на выселках, у самой станции. Мимо кривого колодца пройдёшь — третья изба по левую руку, крыша просела, плетень завалился. С базара раньше трёх не вернётся. — Матушка строго подняла палец. — Только одному тебе к вдове ходить нельзя. Мигом скажут: учитель к Прасковье повадился. Ей же хуже будет. Я с тобой схожу, будто по-соседски, гостинец снести.

— Так и сделаем, — кивнул батюшка, надевая шапку. — После трёх, с Анной. А к Кузьмину иди задами, через огороды. При Гавриле в лавку ни ногой.

* * *

Степан впустил его через заднюю калитку. В горнице на столе уже лежали три толстые книги в кожаных переплётах. Девушка с косой поставила самовар и ушла, бросив на гостя быстрый любопытный взгляд.

— Дарья, моя, — буркнул Кузьмин. — Ну, садись. Смотри.

Он листал книги часа полтора. Почерк у Гаврилы был аккуратный, всё разложено по графам. Кузьмин сидел рядом, сопел и подливал чай. Для сравнения Антон попросил прошлогодние книги и набросал на листке маленькую таблицу: сентябрь двенадцатого года против сентября тринадцатого.

Принято огурца у мужиков: тысяча триста пятьдесят пудов — и тысяча четыреста. Отправлено бочек: сто шестьдесят шесть — и сто пятьдесят девять. Списано на гниль и брак: двадцать два пуда — и сто двадцать восемь. Куплено соли: шестьдесят пудов — и сто пятнадцать.

Погреб и на начало, и на конец месяца в оба года стоял пустой: всё, что засолили, то и отправили. Больше огурцам деваться было некуда.

Против строчки о списании рукой Гаврилы было приписано: «Огурецъ мелкій, перезрѣлый, гнилъ въ кадкахъ по причинѣ дождей».

— Ну… дожди и правда были в августе, — нахмурился Кузьмин. Но сам не очень верил. — Что видишь, учитель?

— Соли подозрительно много. Раз столько брака, соли должно было уйти меньше, чем в прошлом году. Она остаётся или расходуется подчистую?

— Подчистую, — ответил от двери Степан. — В амбаре мешка три осталось. Остальное в рассол ушло, я сам видел, Лукерья котлы варила.

— Тогда смотрите. В прошлом году на сто шестьдесят шесть бочек ушло шестьдесят пудов соли — фунтов по четырнадцать-пятнадцать на бочку. В этом на сто пятьдесят девять бочек — почти по двадцать восемь. Соли на бочку вдвое больше, хотя бочек меньше.

Кузьмин медленно багровел.

— Вдвое… — Он стукнул пальцем по строчке о гнили. — А гнилого огурца в шесть раз больше. А бочек меньше. А куплено огурца больше. Это ж… — Он сжал кулак, потом медленно разжал, вспомнив обещание. — Ну, учитель. Куда огурец ушёл — понятно стало, не в гниль. А вот куда именно? Его ж не в карман положишь, сто с лишним пудов. Это ж возы.

— Надо отсечь базар. Есть у вас кто быстроногий и неболтливый? Посмотреть, кто сейчас торгует солёными огурцами.

— Степана на базаре каждая собака знает. Работника пошлю — Гаврила спросит, чего шастает…

Из-за двери соседней комнаты раздался голос:

— Я схожу, тятенька.

Дарья вышла уже в платке и полушубке. Видно было, что слушала всё с самого начала.

— Я по пятницам всегда на базар хожу, за лентами да за пряниками. Никто и не глянет.

Кузьмин нахмурился, но махнул рукой:

— Иди. Только не спрашивай никого. Глазами гляди.

Сорок минут Кузьмин нервно барабанил пальцами по столу. Потом Дарья вернулась, раскрасневшаяся, с кульком пряников для отвода глаз, и заговорила быстро, вполголоса:

— Солёными огурцами нынче трое торгуют. У нашего лабаза Прасковья, с нашей бочки, по пятаку десяток. Баба из Фруктовой, со своего огорода, у неё полкадушки всего. А третий — Филат Мохов, Гаврилин свояк. Стоит с воза у коновязи, бочек пять у него. По четыре копейки десяток, дешевле нашего. Народ к нему валом. — Она перевела дух. — Бочки у него без клейма, новые. А огурец я попробовала, будто купить хотела. Солёный-пресолёный, аж горло дерёт. Как наш. И ещё к нему мужик чужой подходил, в городском картузе, долго шептались. Филат ему потом бумажку какую-то дал.

Кузьмин медленно поднялся из-за стола.

— Федот Игнатьич, спокойствие. Только спокойствие. Мы ещё не знаем, в сговоре ли Филат и как он огурцы получает.

Кузьмин постоял, упершись кулаками в стол, тяжело дыша. Потом опустился на лавку.

— Спокойствие… Легко тебе говорить. Это ж мой огурец у коновязи по четыре копейки идёт. Мой! — Он выпил остывший чай одним глотком. — Ладно. Филат мне не работник, у меня в амбаре не бывает. Огурец ему кто-то передаёт.

— Хозяин, — подал голос Степан. — В сентябре Гаврила раза три говорил, что ночевать на засолке будет. Бочки, мол, досматривать. Я ещё дивился: раньше его туда и днём не загонишь.

— А засолка где? — спросил Кузьмин сам себя и сам ответил: — Амбар на задах, у оврага. Ворота во двор, а с той стороны к оврагу калитка, для воды.

Дарья тихо ахнула.

* * *

— Как его за руку поймать?

— Есть вариант, только терпения много надо. Посадить человека в засаду. Хоть в бочку. Перед ночным дежурством Гаврилы. А вы со Степаном и парой мужиков — поодаль. — Антон помолчал. — Но если поймаем его на краже… У него ж полсела родни. Себе хуже не сделаем? Тут, может, тоньше надо.

Кузьмин представил себе мужика в бочке с ледяной водой октябрьской ночью и захохотал так, что зазвенели стаканы.

— В бочку! Да он к утру в солёный огурец обратится! — Он утёр слёзы. — Но мысль верная. Сидеть да ждать. Только не в бочке, а на полатях, за мешками, в тулупе. Степан у меня сутки на морозе в засаде на волка высидел.

Потом посерьёзнел.

— А про родню — тут ты в точку. Поймаем с поличным, при уряднике — Гаврилу в острог. Начнётся суд, разговоры. Дойдёт до Москвы, до Сидорова, что у Кузьмина в бочках недовес да пересол. Он скажет: раз у тебя приказчик вор, где гарантия, что ты сам не знал? И всё. Лучше уж сто пудов огурца потерять, чем Сидорова. — Он постучал пальцем по столу. — Засолку на этой неделе кончаем. Гаврила сказал, в воскресенье ночью на засолке ночевать будет, последние бочки досмотреть.

— А Гаврила сильно в Господа верует?

— На людях — первый богомолец. На Пасху кулич батюшке несёт самый большой. — Кузьмин понизил голос. — А нутром суеверный, пуще бабы. В пятницу дел не начинает, чёрной кошки боится, от покойников бегает. Когда Фома Ветров на станции погиб, Гаврила на отпевание не пошёл, сказался больным.

— Фома-то в июле приходил к Гавриле, — неожиданно сказал Степан от двери. — Ругались они в лавке, громко. Я слыхал только, Фома кричал: «Всё хозяину скажу». А через неделю его между вагонами…

В горнице стало очень тихо.

— Ты это мне чего ж раньше не сказал?

— Не спрашивали, хозяин. Да и мало ли кто с кем лается.

Помолчали. Потом Степан, по просьбе Антона, рассказал, как Гаврила дежурит: в девять берёт у него ключ от амбарных ворот, Степан запирает ворота снаружи, а уходит Гаврила до первых петухов, часов в пять. А ключ от калитки к оврагу у Гаврилы свой, на поясе. Выходит, войти при Степане он может, а выпустить или впустить кого — только через калитку, без свидетелей.

— Мне нужен мальчонка, — сказал Антон. — Ростом с Егорку.

Кузьмин и Степан переглянулись.

— Петька Рябов из младшего отделения, — перебрал Степан. — Мать говорит, сорванец, по ночам на станцию бегает паровозы глядеть. Гаврила на такого и не глянет.

— Тогда слушайте. Только огурцами не кидайте. Я с мальчонкой засяду в амбаре. Пока Гаврилы нет, напишу мелом на бочках: «вор». Он придёт, увидит на одной, подойдёт ближе — а там на десяти. Испугается. Тут из дальнего угла выйдет мальчонка, в полутьме не разобрать, и скажет голосом Егорки: «Отчего батьку моего сгубил, ирод?» А с другого угла выйду я, будто покойник Фома. «Гаврила, это я, Фома… Отчего погубил ты меня?» Гаврила кинется к калитке. Откроет — а там ваша дочь, вся в белом и с косой: «Я Марена. Долго же ты, Гаврила, ждать меня заставил». Главное, чтоб без чувств не упал замертво.

Огурцами никто не кидался. Но в горнице повисла такая тишина, что слышно было, как тикают часы. Первой не выдержала Дарья: прыснула в кулак и тут же испуганно смолкла под отцовским взглядом.

Кузьмин долго смотрел на него. Потом перекрестился. Потом ещё раз.

— Марена… С косой… Дашку мою… — Он потёр лоб. — Учитель, ты, часом, не из цирка?

Степан у двери стоял с каменным лицом, но борода у него подозрительно подрагивала.

— Ладно, — посерьёзнел Кузьмин. — Гаврилу ты раскусил верно: перепугается до смерти. Только убежит — и что? Ни огурца в руках, ни Филата с возом. Наутро очухается, скажет: блазнилось. А вот зерно в твоей придумке есть. Совестью он нечист и суеверен. Коли его напугать так, чтоб сам себя выдал — вот это дело.

— Федот Игнатьич, давайте без суда. Чтоб он испугался и сам — сам! — бросил это дело. Будто Господь его наказывает.

Кузьмин долго барабанил пальцами по столу. Потом медленно кивнул.

— А ведь ты моё же и говоришь. Мне суд не нужен, мне Сидоров нужен. Божья кара — она надёжнее урядника. От урядника отвертеться можно, а от покойника — куда? — Потом лицо его потемнело. — Только два «но». Мне знать надо наверняка, своими ушами. Так что я на полатях буду. Свидетель не для суда, а для себя. А второе — Фома. Ежели Гаврила его и вправду сгубил, тут уж не огурцы, тут душа человеческая. Пусть уж это батюшка решает, коли Гаврила при нём покается. Я не судья.

— Фома мне кум был, — тихо сказал Степан.

Дальше считали по минутам, как на железной дороге. В восемь Гаврила у хозяина за распоряжениями, как всегда. Потом идёт ужинать. Без четверти девять Кузьмин, Антон и мальчишка задами пробираются в амбар, Степан навешивает замок обратно. Кузьмин — на полати, Антон с мальцом — за бочки. Чтобы Гаврила, проходя мимо окон, не заметил пустой горницы, Дарья сядет у лампы на отцовское место, в его поддёвке, спиной к окну, а в девять, как всегда, погасит свет. Около десяти Степан с Дарьей и двумя мужиками уходят в ракитник у оврага, откуда одна дорога к станции.

— Раньше полуночи не сунутся, — сказал Степан. — Да в час ночи через станцию товарный идёт, грохочет на всю округу. Под него воз в овраге и не услышишь. Я бы на месте Филата под него и подъехал.

— Тятенька, а как же Марена? — разочарованно протянула Дарья.

— Марена подождёт, — отрезал Кузьмин. — Со Степаном пойдёшь, из ракитника без его слова ни шагу. Ни с косой, ни без косы.

Дарья просияла и закивала так усердно, что коса подпрыгнула.

* * *

С Петькой всё вышло быстро. Антон отозвал его на большой перемене за угол школы, будто помочь с дровами, и пяти минут хватило. Услышав про тайное ночное дело, Петька чуть не лопнул от восторга, поклялся землёй, что никому ни слова, и потребовал только одного: чтобы потом его свели на станцию поглядеть паровоз вблизи. В воскресенье в восемь вечера он «пойдёт ночевать к бабке», а сам придёт к батюшкиному крыльцу.

Мария Петровна с крыльца проводила их любопытным взглядом, но ничего не спросила.

До трёх часов оставалось время, а в кармане лежали два рубля. Антон пошёл на базар.

Базар уже сворачивался, но народу было полно. Телеги с капустой, картошкой и луком, мужики торгуются, хлопая по рукам. Бабы с курами и яйцами в корзинах. Коробейник с лентами и гребнями. Бородатый дед с лаптями. Баба с горячими пирогами из-под полотенца.

Пахло навозом, дёгтем и печёным. Пирог с капустой — две копейки, с мясом — пять. Фунт сахара — пятнадцать.

Издали он увидел у кузьминского лабаза Прасковью: худая, в тёмном платке, отпускала огурцы из бочки. Руки красные, обмотаны тряпками. Рядом Егорка таскал ей ковшом рассол.

У коновязи воза Филата уже не было — только примятый снег и рассыпанная солома.

А в дверях лавки, скрестив руки, стоял Гаврила и лениво оглядывал площадь. Взгляд его на миг задержался на учителе.

Валенками торговал пимокат из соседней деревни, рыжий мужик в овчине.

— Глядите, барин, сам катал! Серые, на всю зиму — рубль двадцать. Ребячьи — семьдесят копеек, хоть на Егорку, хоть на кого.

Имени он, конечно, не знал, это он просто к слову. Но маленькие валенки и правда пришлись бы впору щуплому мальчишке.

— За полтора рубля и те, и другие отдашь?

Пимокат всплеснул руками, будто его режут:

— Полтора?! Да тут одной шерсти на рубль! — Потом прищурился. — Ты, часом, не тот учитель из Перми, что ребятишек за полчаса счёту выучил? Мой племяш у вас в младшем, Тимоша. Дома сказывал. — Он вздохнул, будто от сердца отрывал. — Ну, для учителя — рубль шестьдесят. И то в убыток.

— Договорились. Не серчай, я знаниями твоему племяннику отплачу.

— Вот это по-нашему! Тимошку-то не обижай, он у нас тугодум, да добрый.

Он связал обе пары бечёвкой и повесил покупателю на плечо.

Отходя от лотка, Антон чуть не наткнулся на Гаврилу. Тот стоял прямо за спиной — видно, уже давно — и смотрел на валенки.

— Обновку справил, учитель? — масляно улыбнулся он. — Да две пары. Вчера, говорят, без гроша был, обокраденный, а нынче, гляди-ка, при деньгах. Щедрый, видать, у тебя кто-то завёлся.

Не дожидаясь ответа, он развернулся и, скрипя сапогами, ушёл в лавку.

На оставшиеся сорок копеек Антон купил у торговки из Коломны два фунта колотого сахара и мешочек серой крупной соли. Денег не осталось совсем.

Дома матушка всплеснула руками:

— Ох, Антоша, да зачем же! Своих копеек не жалеешь…

Но сахар прибрала бережно, в шкафчик, соль ссыпала в солоницу. Потом подумала и отделила один свёрток:

— Фунт Прасковье отнесём. Ребятишкам с чаем.

На валенки она только покосилась и ничего не спросила.

Глава 7. Валенки

В три часа они с матушкой пошли на выселки. Матушка несла узелок с сахаром и пирогами, он — валенки на плече. Мимо кривого колодца, третья изба по левую руку.

Изба была маленькая, вросшая в землю, крыша просела, плетень завалился. Из трубы тянулся тонкий дымок: дров, видно, берегли. Матушка постучала.

Открыла Прасковья. Вблизи она оказалась моложе, чем казалось на базаре, лет тридцати, но лицо серое, усталое, под глазами тени. Руки замотаны тряпками. За её юбкой прятались двое малышей, а из глубины избы выглядывал Егорка. Увидев учителя, он вдруг выпрямился, и на лице его мелькнуло что-то похожее на радость.

— Матушка… — растерянно поклонилась Прасковья. — Проходите… Только у нас не прибрано.

Внутри было тесно, полутемно и прохладно: печь топлена едва-едва. Земляной пол присыпан соломой, лавки вдоль стен, стол, в красном углу маленькая потемневшая икона. Малыши — мальчик лет пяти и девочка лет трёх — босые, жались к печи. На лавке под рогожей лежали отцовские сапоги, сношенные до дыр. Видно, их и носил Егорка.

Матушка сразу взяла дело в свои руки: поставила узелок на стол, достала пироги, сахар, погладила малышей по головам.

— Это Антон Иванович, свойственник наш. В школе Марии Петровне помогает.

Прасковья поклонилась настороженно, не поднимая глаз. Чужой мужчина в доме вдовы — она понимала это не хуже него.

Но тут Егорка подошёл к матери и тихо, но отчётливо сказал:

— Мамка, это он. Про паровоз.

Прасковья вздрогнула, посмотрела на сына, потом на гостя. Губы у неё задрожали.

— Заговорил… — прошептала она. — При мне два слова за полгода, а вчера пришёл — весь вечер про паровоз, про котёл, про тендер…

Она отвернулась к печи и быстро вытерла глаза тряпкой с руки. Матушка обняла её за плечи.

* * *

— Здравствуй, Егор. Слушай, помоги, а? Купил я валенки, а они мне жмут. Посмотри, может, тебе впору?

Он снял с плеча серые валенки. Егорка удивлённо посмотрел на них, сел на лавку и сунул ногу. Нога провалилась почти по колено. Он встал, сделал шаг — и валенок остался стоять на полу, а Егорка шагнул дальше в одной онуче.

Малыши у печи захохотали, девочка захлопала в ладоши. И Егорка, глядя на пустой валенок, вдруг тоже улыбнулся — по-настоящему, впервые на памяти матери.

— Велики. Как у тятьки.

Прасковья поняла всё. Лицо у неё вспыхнуло.

— Антон Иванович… Не надо. Мы не нищие, не возьмём. Люди скажут…

— И точно, велики, не поспоришь. А вот мне вместо сдачи дали помельче. Посмотри эти. Мне-то они точно не налезут.

Маленькие валенки сели как влитые. Егорка встал, топнул раз, другой, прошёлся по избе. Тёплые, новые — и не надо больше ходить в отцовских дырявых сапогах. Он остановился посреди избы и посмотрел на мать. Ничего не сказал, но и снимать не торопился.

— Бери, Прасковья, — мягко сказала матушка. — Не милостыня это. Мальцу в школу по морозу ходить, учителю его же и надо, чтоб ученик не простыл. А люди скажут — так я им сама скажу, что от учителя по уговору.

Прасковья всхлипнула и низко поклонилась в пояс.

Серые валенки так и стояли посреди избы. Антон подозвал Егорку и шепнул ему на ухо:

— Большие-то не пристроены. Кому бы их примерить, не подскажешь?

И чуть заметно кивнул на Прасковью.

В глазах мальчика загорелось понимание. Он серьёзно, по-взрослому кивнул, подхватил серые валенки и понёс их матери.

— Мамка. Примерь.

— Егорушка, не надо, это ж учителя…

— Примерь, — упрямо повторил он и поставил валенки у её ног.

Прасковья посмотрела на сына. Полгода молчал, а теперь стоит перед ней и просит. Отказать она не смогла. Медленно села на лавку, размотала старые онучи и надела валенки. Великоваты, но тёплые. Она невольно прикрыла глаза, как от печного жара.

— Тепло…

Малыши полезли к ней на колени трогать обнову. Матушка отвернулась к окну и высморкалась в платок.

— Спаси вас Бог, Антон Иванович. Чем отплатить-то? У нас ничего нет…

— Господь велел помогать ближнему. Когда ближнему тепло, и мне на душе тепло.

* * *

Прасковья поставила на стол самовар, маленький и помятый, разложила пироги, наколола сахар. Ребятишки облепили стол. Егорка сидел рядом с учителем, болтал ногами в новых валенках и то и дело поглядывал вниз — на месте ли.

Когда матушка увела малышей к печи показать, как лепить петушка из теста, Прасковья наклонилась и заговорила тихо, быстро, не поднимая глаз:

— Антон Иванович… Гаврила нынче на базаре ко мне подходил. Спрашивал, не видала ли, с кем учитель пермский водится, да не заходил ли к Кузьмину. Я сказала — не знаю. Вы с ним осторожнее. Он… нехороший человек.

— Не беспокойтесь, Прасковья… простите, не знаю, как вас по отчеству. Он мне не страшен.

Она грустно улыбнулась краешком губ.

— Семёновна я. Да нас, вдов, по отчеству не величают.

Улыбка погасла. Она долго смотрела в стакан и сказала совсем тихо, почти одними губами:

— Фома тоже говорил: «Не страшен он мне». В июле. Пришёл с засолки вечером сам не свой. Сказал, видел ночью у оврага, как Гаврила с Филатом огурец из амбара мешками на воз таскали. Хотел хозяину сказать. Я его просила: не лезь, Фомушка, у нас дети. А он упрямый был… — Голос у неё сорвался. — Через неделю его на станции между вагонами. Сказали, оступился, выпивши был. — Она подняла сухие, страшные глаза. — А он не пил, Антон Иванович. Ни капли. Никогда.

У печи матушка смеялась с малышами. А Егорка перестал болтать ногами и сидел очень тихо.

— Прасковья Семёновна, я понимаю, как вам тяжело. Но давайте не при Егоре.

Она спохватилась и бросила взгляд на сына:

— Простите… Язык мой.

Больше она об этом не говорила. Но Егорка всё слышал. Он сидел неподвижно, сжав кулачки на коленях, и смотрел в стол. Потом медленно поднял глаза — не испуганные, а взрослые, тяжёлые. И снова опустил.

Прасковья проводила их до плетня и поклонилась в пояс. Егорка стоял на крыльце в новых валенках и смотрел им вслед, пока они не скрылись за кривым колодцем.

У самого дома матушка, всю дорогу молчавшая, крепко сжала его локоть:

— Слышала я, Антоша. Про Фому. Ты Васе скажи. Сегодня же.

* * *

К вечерне он не пошёл, а побежал. Гаврилы в храме не было.

После службы отец Василий кивнул на сторожку. Митрич ушёл колоть дрова, дверь закрылась. Антон рассказал всё: про июль, про ночной воз у оврага, про Фому, который хотел открыть хозяину правду и через неделю погиб, хотя никогда не пил.

Батюшка слушал не перебивая. Лицо его каменело.

— Фому я отпевал, — глухо сказал он наконец. — Урядник тогда сказал: несчастный случай, сцепщик оступился. Я поверил. — Он сжал чётки так, что побелели пальцы. — А надо было не верить. — Он повернулся к Антону. — Что Гаврила мне на исповеди говорил или не говорил, того я не открою, хоть режь. Но что ты узнал не от меня — другое дело. А теперь говори, что вы с Кузьминым удумали. Анна мне по глазам твоим уже всё сказала.

Антон перекрестился:

— Прости грешного, батюшка.

И рассказал всё как есть. Про слова на бочках. Про Петьку, который прикинется Егоркой. Про себя в роли покойного Фомы. Про Марену. И про то, что Кузьмин сказал: «Пусть батюшка решает, я не судья».

На Марене у отца Василия дёрнулась бровь. На «рядиться покойником Фомой» он медленно перекрестился. А когда дошло до слов Кузьмина, закрыл глаза и долго молчал.

— Марена — бесовщина языческая, — сказал он тихо, но так, что каждое слово было слышно. — Рядиться усопшим — над мёртвыми глумиться. Фома в земле лежит, а вы его голосом говорить будете, чтоб живого напугать. Этого я благословить не могу. Никак. И мальца в такое не тяни. Дитя потом всю жизнь помнить будет, что мёртвым прикидывалось.

Помолчал и добавил мягче:

— А что Гаврилу на чистую воду вывести хочешь без суда и крови — за это спасибо. И что сидеть в амбаре да ждать воз — дело верное.

Он поднялся и снял со стены медный напрестольный крест, тяжёлый, потемневший.

— Так что вот как будет. В воскресенье я с Кузьминым на полатях. Не мертвец, не ряженый — я. Когда Гаврила с Филатом таскать начнут, я спущусь со свечой и с крестом. Нечистая совесть священника в полночь пуще любого покойника боится. Особенно если тот покойника отпевал.

— Батюшка, этот грех я приму на себя. Мальчонка прикинется Егором, а Егор жив и здоров. Покойного изображать буду я, это мой крест, и я его пронесу. А вас пустить к Гавриле не вправе. Как я потом матушке объясню, если что случится? Не благословите — не прошу. Ложитесь спать. А утром, если сможете, ждите меня на исповеди.

Отец Василий долго смотрел на него. В глазах сперва вспыхнул гнев, потом что-то другое, похожее на невольное уважение.

— Грех на себя… Ишь ты. Ты, Антон, упрямый, как Фома был.

Он медленно, будто нехотя, повесил крест обратно на стену.

— Ты взрослый. Неволить не стану. Благословения не дам, и ты это помни. Но и спать не лягу, не проси. Не тебе решать, где пастырю быть, когда в его приходе, может, душу загу-

били. На полати не полезу, в представление ваше не встряну. Буду в ракитнике, со Степаном и Дарьей. Ежели Гаврила ножом махнёт — Степан рядом. А ежели каяться захочет — кто у него покаяние примет? Ты, что ли, ряженый?

Он чуть усмехнулся краем рта, впервые за весь разговор.

— А Анне скажу, что к умирающему позвали. Не совру: Гаврила-то душой больной. — И снова серьёзно: — Про Петьку помни: мать его не знает. Случись с мальцом что — с тебя спрошу. На этом свете и на том.

Антон перекрестился:

— Век мне прощенья не видать, если мальчонку не сберегу.

Отец Василий положил тяжёлую ладонь ему на плечо и молча кивнул.

* * *

Суббота и воскресенье пролетели быстро.

В субботу он помогал батюшке по хозяйству и тайком готовился. Мука для лица — у матушки в ларе. Сажа — в печи. Старый рваный армяк выпросил у Митрича «для огородного чучела». Петьку решили не наряжать: своя одёжа, только лицо чуть присыпать мукой, и в полутьме его не отличишь от Егорки.

В воскресенье утром была литургия, весь приход в храме. Гаврила стоял у амвона, крестился размашисто, кланялся Кузьмину. Кузьмин отвечал ласковым кивком, хотя желваки у него ходили. Слово держал.

Вечером Антон не мог проглотить ни куска. Матушка ничего не спрашивала, только перекрестила его на дорогу.

Без двадцати девять к батюшкиному крыльцу, пыхтя, подбежал Петька. Глаза горят, шапка набекрень.

— Я у бабки ночую!

Глава 8. Амбар

Задами, через огороды, они с Петькой пробрались к кузьминскому двору. У задней калитки ждали Кузьмин в тёмном тулупе и Степан. Без слов прошли вдоль сарая, в тени. Степан отпер амбар, впустил их троих, и замок с тихим щелчком защёлкнулся снаружи.

Темно, холодно, пахло рассолом и укропом. Кузьмин, кряхтя, полез по приставной лестнице на полати. Антон с Петькой остались внизу, среди бочек. В руке у Антона был кусок мела.

Они торопливо обошли бочки, и на десяти, вдоль прохода от ворот к кадкам, он вывел крупно:

ВОРЪ

С твёрдым знаком на конце. Петька шёпотом подсказал: «А то не по-людски».

Потом они нырнули в дальний тёмный угол у калитки, за штабель пустых бочек. Натёрли лица мукой с сажей, Антон накинул Митричев армяк. Петька прижался к нему и часто дышал, но молчал. Сверху, с полатей, не доносилось ни звука.

Без пяти девять снаружи послышались шаги, голос Степана, лязг замка. Ворота скрипнули, вошёл Гаврила с фонарём, и ворота за ним снова заперли.

Он поставил фонарь на кадку, снял шапку, зевнул. Потом взял фонарь и пошёл вдоль бочек, поглядывая на номера. И остановился.

Долго стоял перед первой надписью. Поднял фонарь выше: вторая, третья… десятая. Свет в его руке мелко задрожал.

— Степан… — прошипел он сквозь зубы. — Ах ты ж…

Бросился к первой бочке и яростно стёр надпись рукавом, потом вторую, третью. Стёр все. Тяжело дыша, медленно обернулся и долго светил фонарём по тёмным углам. Луч скользнул по штабелю, за которым они сидели, задержался… и ушёл дальше.

Гаврила проверил засов на калитке, пробормотал что-то вроде молитвы и сел на мешок у кадок, не выпуская фонаря из рук. Больше он не зевал.

* * *

Время тянулось. Десять, одиннадцать, полночь. Петька пару раз клевал носом у Антона на плече. Гаврила сидел неподвижно и вздрагивал от каждого шороха.

Без четверти час вдалеке нарос гул: шёл товарный. И почти сразу в калитку постучали — три тихих удара, пауза, ещё один.

Гаврила вскочил.

Не шевеля головой, одними глазами Антон огляделся. Штабель пустых бочек, верхняя стоит неустойчиво. У ног — бухта толстой пеньковой верёвки. Вилы у стены, на расстоянии вытянутой руки. Деревянная лопата для соли. Калитка в трёх шагах слева. А в дальнем конце, у ворот, лестница на полати, и оттуда, кажется, поблёскивают глаза Кузьмина.

Гаврила отодвинул засов. Вместе с морозным воздухом и грохотом поезда в амбар протиснулся коренастый мужик в овчинном полушубке, с кнутом за поясом. За калиткой фыркнула лошадь.

Филат.

— Ты чего белый, как мука? — прохрипел он.

— Тише ты! Тут на бочках кто-то «вор» написал. На десяти. Я стёр.

Филат сплюнул:

— Степан, небось, балует. Или ребятня через крышу. Таскаем, пока поезд громыхает. Покупатель ждать не будет.

Он снял с плеча пустой мешок и пошёл к кадкам. Гаврила помедлил, оглянулся на тёмные углы, перекрестился и пошёл следом.

Петька больно сжал рукав Антона.

— Не дрейфь, — шепнул тот. — Слова помнишь?

— Не дрейфлю, Антон Иваныч, — одними губами ответил Петька. — Помню. Только вы первый, ладно? Я за вами.

Антон решил ждать. Поезд уйдёт через две-три минуты, а таскать им пудов двадцать, мешков шесть-семь, — на полчаса работы. И каждый мешок они понесут к калитке. В трёх шагах от их штабеля.

Поезд прогремел, удалился, и гул растаял. Наступила тишина, такая плотная, что слышно было, как в кадке булькает рассол.

Филат взвалил первый мешок и понёс к калитке. Прошёл в шаге от штабеля, задел сапогом бухту верёвки, чертыхнулся шёпотом, но не оглянулся. Мешок глухо плюхнулся на воз. Гаврила нёс второй — быстро, втянув голову в плечи, косясь по сторонам.

Вернулись оба. У кадки Гаврила вдруг остановился и хрипло зашептал:

— Филат… А ну как это Фома? Надпись-то. Он же тогда грозился: «Всем расскажу, что вы воры»…

Филат резко повернулся:

— Сдурел? Фома в земле. Сам под вагон полез, сам. — Он понизил голос. — А не сам — так тебе ж лучше, что молчит. Ты мне про Фому не начинай. Держи мешок.

Гаврила, дрожа, растянул горловину. Огурцы с плеском посыпались внутрь.

Сверху, с полатей, донёсся едва слышный скрип доски, будто кто-то стиснул кулаки.

Оба стояли спиной к тёмному углу, у кадки, свет фонаря падал на них.

Пора.

* * *

Антон пнул штабель. Верхняя бочка качнулась и с оглушительным грохотом рухнула на земляной пол, покатилась, подпрыгивая, к кадкам. В мёртвой тишине это прозвучало как выстрел.

Филат и Гаврила разом обернулись. Мешок упал, огурцы раскатились по полу.

Из тёмного угла, в дрожащем свете фонаря, медленно выходила фигура: белое мертвенное лицо в тёмных пятнах, рваный армяк, вилы в руке. Шла рывками, приволакивая ногу, голова набок. Рядом, держась за руку, — маленькая белолицая тень.

И хриплый, нечеловеческий голос:

— Гаври-и-ил… Отчего погуби-и-ил ты меня-а-а…

Гаврила издал звук, похожий на заячий визг. Попятился, поскользнулся на огурцах и сел на пол.

Антон сжал Петькину руку. Петька набрал воздуха, и тонкий голосок задрожал по-настоящему, от страха, отчего вышло ещё жутче:

— Отчего батьку моего Фому сгубил, ирод?!

Гаврила закрыл лицо руками и завыл, раскачиваясь:

— Не я! Не я, Фомушка! Господи помилуй! Это Филат тебя толкнул, Филат! Я только держал… только держал, чтоб не кричал! Он сказал — попугаем только! Прости, Фомушка, прости Христа ради!..

Филат стоял белый как полотно, но не падал. Взгляд метался от фигуры к калитке. Рука медленно потянулась к голенищу, где тускло блеснула костяная рукоять.

— Живой ты… — прохрипел он. — Брешешь, живой…

Он шагнул вперёд.

Антон засмеялся — злобно, хрипло, так что смех раскатился под сводами.

— И ты здесь, Филат? Хочешь мертвеца убить? Не я за вами пришёл. Смерть ваша пришла. — Он набрал полную грудь воздуха. — МАРЕ-Е-ЕНА-А-А! Приди за этими сгнившими душами!

Филат замер с рукой у голенища. Гаврила на полу перестал выть и смотрел снизу вверх, раскрыв рот.

Секунду ничего не происходило. Только эхо.

А потом калитка, которую они оставили приоткрытой для мешков, медленно, со скрипом распахнулась. В проёме, в лунном свете, на фоне заснеженного оврага стояла высокая белая фигура. Длинная рубаха до пят, распущенные волосы до пояса, лицо белее снега. В руке — настоящая коса, и лезвие ловило свет фонаря.

Фигура молча подняла косу.

У Филата лопнули нервы. Нож так и остался в голенище. Он развернулся и с рёвом бросился к воротам, заколотил в них кулаками:

— Отворите! Отворите, Христа ради!

Ворота были заперты снаружи. Филат сполз по ним на колени и стал судорожно креститься, путая руки.

Гаврила на четвереньках пополз прочь от калитки, бормоча молитвы вперемешку с именем Фомы.

А за белой фигурой в проёме появилась ещё одна: тёмная, со свечой в руке и медным крестом на груди. Отец Василий. За ним маячила огромная тень Степана и двое мужиков в тулупах, у одного дубина.

Гаврила увидел священника и кинулся к нему, вцепился в полы подрясника:

— Батюшка! Исповедуй! Исповедуй, пока не забрала! Всё скажу! Всё!

Петька намертво вцепился Антону в армяк и дрожал, но не плакал.

Антон подтолкнул его к калитке. Степан подхватил мальчишку одной рукой, как котёнка, и передал за спину мужикам.

— Антон Иваныч, а я ещё… — начал было Петька, но его уже уводили в темноту оврага. Слышно было, как он громким шёпотом возмущается, что уводят от «самого интересного».

Дарья отступила к самой калитке и опустила косу. Лицо под мукой бледное, а глаза горят. Уходить она явно не собиралась.

Отец Василий поднял свечу выше и посмотрел поверх головы Гаврилы:

— Будет, Антон. Дальше — живые дела.

* * *

Антон бросил вилы, подхватил верёвку и кивнул Степану на Филата.

Степан в три шага пересёк амбар. Филат почуял неладное, вскинулся и потянулся к голенищу, но Степан сгрёб его за шиворот и вжал лицом в ворота, а Антон выдернул из сапога нож — длинный, самодельный, с костяной рукоятью — и сунул себе за пояс.

Вблизи Филат разглядел живые руки, почуял запах пота и зарычал:

— Живой! Учитель это, пермский! Гаврила, дурак, это ж учитель!

Он рвался, но Степан держал его, как медведь телёнка. Вдвоём они скрутили ему руки за спиной.

Гаврила даже не сопротивлялся. Смотрел вблизи на размазанную потом муку и медленно понимал. Но не злился. Только осел ещё ниже и закрыл лицо руками.

— Всё одно… — прошептал он. — Всё одно Бог послал. Не Фома, так ты…

Его связали не туго.

Сверху тяжело заскрипела лестница. С полатей медленно спускался Кузьмин с фонарём. Лицо у него было каменное, страшное. Гаврила поднял голову, увидел хозяина и тихо застонал.

Кузьмин долго стоял над ним молча. Потом повернулся к Антону и батюшке:

— Огурцы — это одно. Я бы простил. — Голос был хриплый. — А тут человека убили. Кума Степанова. Отца трёх ребят. Ну, учитель, что теперь? Урядника звать?

— Всё должно быть по закону. Не иначе.

Кузьмин долго смотрел на него, потом медленно кивнул.

— По закону. Сидоров, может, и отвернётся. Да лучше без Сидорова, чем с кровью на совести. Степан, пошли Ерёму за Савельичем. Скажи — убийство.

Отец Василий положил ладонь на голову рыдающего Гаврилы:

— Покаяние твоё Господь примет. А за пролитую кровь отвечать перед людьми будешь. Одно другого не отменяет.

* * *

К трём часам ночи прибежал урядник Савельич — заспанный, в шинели поверх исподнего. Долго слушал, хмурился, разглядывая перемазанную мукой физиономию учителя, но протокол написал. Свидетели: купец Кузьмин, священник, работник Степан, учитель Сорокин. Воз Филата с мешками огурца у оврага — улика. К утру обоих под конвоем увезли в Зарайск, к судебному следователю.

Через неделю село гудело: дело о гибели Фомы Ветрова открыли заново. На допросе Филат поначалу всё отрицал, но Гаврила на очной ставке рассказал всё. Родня Гаврилы косилась на учителя, но открыто никто не шёл. Убийство есть убийство.

Кузьмин сам, через Антона, написал Сидорову в Москву: честно, что приказчик воровал, и что виновный под судом. Через две недели пришёл ответ. Сидоров ценит честных поставщиков, цену оставляет прежней. Кузьмин три дня ходил довольный, как кот.

Он дал Антону пятнадцать рублей награды — «не обижу», как и обещал, — и предложил место счетовода: двадцать пять рублей в месяц, утром школа, после обеда контора. Прасковье назначил пособие за Фому и перевёл её с засолки в лавку. На место Гаврилы взял молодого приказчика из соседнего села.

А Егорка через месяц, на уроке у Марии Петровны, сам вышел к доске и решил задачу про два поезда.

Глава 9. Невеста

Сваты пошли, как он и предполагал. Не прямые, но разведка шла вовсю.

Бабы у колодца не давали матушке проходу: «А свойственник-то ваш женатый али как? Учитель, при купце, двадцать пять рублей — такого жениха на всё село одного». Матушка пока отшучивалась.

Кузьмин за чаем после конторы будто между делом ронял: «Дашке моей восемнадцать. Засиделась. А мне бы в дом человека толкового, чтоб дело передать…» — и смотрел из-под бровей.

Дарья носила в контору то пироги, то чай и задерживалась дольше нужного. После ночи в амбаре она смотрела на него, как на героя.

Мария Петровна ничего не говорила, но краснела, когда он задерживался после уроков.

А Прасковья при встрече кланялась и опускала глаза. Держалась в стороне, будто боялась, что люди скажут.

* * *

В конце ноября, вечером, когда матушка ушла к соседке, отец Василий сидел у печи перед остывшим стаканом чая. За окном мела метель.

— Я ведь об этом не одну ночь думал, Антон, — сказал он, не глядя. — Ольга твоя ещё не родилась. И мать её не родилась. Перед людьми ты холост, перед законом холост, бумага твоя так и пишет. — Он повернулся. — А перед Богом? Ты с ней венчан был?

— Не успели обвенчаться.

Отец Василий медленно кивнул, будто ждал этого.

— У нас, Антон, без венца брака нет. Ни для Церкви, ни для закона. По канонам я тебя венчать могу хоть завтра, и греха на мне не будет. — Он долго смотрел в огонь. — Только каноны — это для людей. А совесть — для тебя. Скажи как на исповеди: она тебе там жена? Сердцем — жена? — Помолчал и добавил тише: — И второе. Господь тебя сюда привёл. А ежели завтра так же уведёт обратно? Проснёшься там, у своих. А здесь останется та, которую ты под венец поведёшь, может, с ребёнком. Вдова при живом муже. Об этом ты думал?

— Думал, батюшка. Много думал, наверное, очень много. Не могу я врать, что под Пермью жена и ребятня. Но и Настасью — я её так иногда зову — забыть не могу. И вы правы: а если проснусь опять там, а тут жена на сносях… Не знаю, батюшка. Обет безбрачия давать придётся, наверное.

Отец Василий неожиданно мягко усмехнулся в бороду.

— Обет безбрачия… Обеты, Антон, от тоски не дают. Это монахам, и то после лет послушания. А ты не монах. Ты мужик, у которого сердце занято. — Он положил ладонь ему на руку. — А врать и не надо. Скажем людям правду, только не всю. Есть у тебя невеста. Слово ты ей дал. Далеко она, а ты верен. Разве не так? Всё правда, до последнего слова.

Он кивнул сам себе.

— Я сам Анне скажу, а Анна — у колодца. К Рождеству всё село будет знать, что пермский учитель обручён и невесту ждёт. Сваты отстанут, а бабы ещё и уважать станут: верность у нас в цене. — Помолчав, он добавил тише: — А там как Бог даст. Может, вернёшься к своей Настасье. Может, нет. Ежели через годы сердце отпустит и полюбишь здесь кого — придёшь ко мне, и снова поговорим. А пока живи честно. Этого довольно.

Он встал и подложил полено в печь.

— Кузьмину я сам скажу про Дашку. Аккуратно. Не обидится, он мужик понимающий.

За окном выла метель. В доме было тепло, пахло дымом и хлебом.

* * *

Денег к концу ноября набралось тридцать четыре рубля: пятнадцать — награда Кузьмина, двенадцать с полтиной — конторское жалованье за полмесяца, восемь — школьное от епархии, за вычетом мелочей. Корова стоила рублей сорок-шестьдесят. Деньги немалые.

Он помнил, как Мария Петровна на перемене стояла на крыльце, кутаясь в платок. Пальто у неё было старое, тонкое, ещё с училища. В морозные дни она вела уроки, не снимая платка, и руки к концу дня у неё были красные. А у Прасковьи двое младших, Алёша и Нюра, бегали босыми по земляному полу.

Хоть он и сказал батюшке, что жениться не будет, — помогать-то можно.

В пятницу, двадцать девятого ноября, на базаре его издалека узнал тот же рыжий пимокат.

— Учитель! Тот самый, что убивцев поймал! — заорал он на весь ряд, так что все обернулись. — Тимошка мой нынче задачи решает, мать нарадоваться не может!

Две пары самых маленьких валенок, на Алёшу и Нюру, он отдал за рубль на обе и наотрез отказался брать больше. Ещё и третьи, совсем крохотные, сунул «на вырост».

С пальто было сложнее. Готовой женской одежды на сельском базаре не было. У коробейника нашёлся оренбургский пуховый платок за четыре рубля, тонкий, хоть в кольцо продевай. А на само пальто взяли в кузьминской лавке сукно, ватин и подкладку, а сшить решили отдать портнихе Матрёне: двенадцать рублей вместе с работой. Новый приказчик отмерял сукно аршином, а Кузьмин, проходя мимо, только хмыкнул в бороду и ни о чём не спросил.

Но сам дарить он не стал. Холостой, да ещё «обручённый», мужчина дарит молодой учительнице пальто — к вечеру всё село скажет, что сватается. Ей же и навредит.

Дома матушка выслушала, покачала головой, но глаза у неё смеялись.

— Ох, Антоша… Ладно. Валенки сама Прасковье снесу. А Марии Петровне скажу: от прихода, попечительство решило. Вася подтвердит, не соврёт: ты ж нашего прихода.

Себе он тоже справил наконец зимнее, впервые с той ночи на станции. Овчинный полушубок за восемь рублей, пахнущий кожей и дымом. Валенки — пимокат отдал за рубль и, узнав, что для самого учителя, подшил задники войлоком, «чтоб не протёр». Заячий треух, рукавицы с варежками внутри, две пары шерстяных носков бабьей вязки. Батюшкин тулуп, короткий ему в рукавах, вернул хозяину.

Отец Василий пощупал полушубок и одобрительно кивнул:

— Ну вот. Теперь хоть на человека похож, а не на беглого.

Матушка обошла его кругом и смахнула невидимую соринку с плеча.

В кармане осталось пять рублей шестьдесят копеек.

Портниха Матрёна сняла с Марии Петровны мерку «по поручению батюшки». Через неделю, в начале декабря, учительница пришла в школу в новом тёмно-синем пальто и пуховом платке. Весь день то и дело поглаживала рукав, а на помощника своего смотрела долгим задумчивым взглядом.

Похоже, кое о чём догадывалась.

* * *

Декабрь проходил быстро и снежно.

Утром школа, после обеда контора. В книгах он навёл порядок: завёл отдельные графы для приёма огурца, соли и брака, и Кузьмин учился по ним читать и только крякал от удо-

вольствия. Младшее отделение уже уверенно вычитало в пределах двадцати, а Егорка помогал отстающим.

Были и тревожные звоночки. Родня Филата косилась. Однажды утром у школьного крыльца нашлась дохлая ворона. Митрич проворчал, что это «бабьи наговоры», но выбросил её подальше.

Из Зарайска пришла повестка: в январе, после Крещения, суд над Гаврилой и Филатом. Учитель Сорокин вызывался свидетелем.

Шестого декабря, на Николу Зимнего, в соседнем приходе был престольный праздник, и народ гулял. Под вечер у батюшкиного дома остановились сани, и в избу ввалился высокий широкоплечий парень в железнодорожной шинели с блестящими пуговицами, весь в снегу.

— Батя! Мамка! Отпустили на три дня!

Матушка ахнула и уронила ухват.

Петруша.

Он обнял мать, поцеловал отцу руку, потом заметил у печи чужого человека в своём старом пиджаке и удивлённо поднял брови:

— А это кто у нас? Пиджачок-то знакомый.

— Здравствуй, Пётр. Не серчай за пиджак. Антон меня зовут. Из Перми ехал на заработки, да обокрали в поезде.

Петруша засмеялся, сбросил шинель и крепко пожал ему руку.

— Да носи на здоровье, мне он ещё с семинарии мал. Обокрали, говоришь? На Рязанской-то? Майданщики, сволочи.

— Он, Петенька, у нас теперь учитель! — утирая глаза, вступила матушка. — И у Кузьмина счетовод! Это он Гаврилу с Филатом изловил, за Фому Ветрова!

Петруша замер и посмотрел на гостя по-другому.

— Фому? Сцепщика? — Он медленно сел на лавку. — Я ж его знал. Мы на станции, бывало, вместе курили, когда мой состав тут стоял. Наши все говорили: не мог Фома под вагон сам попасть, он двадцать лет сцепщиком, глаз как у ястреба.

Он покачал головой и снова протянул руку — уже иначе.

— Спасибо тебе, Антон. За Фому.

— Петруша у нас помощник машиниста, — тихо пояснил отец Василий. — Товарные водит.

Матушка уже накрывала на стол.

Продолжение следует

Часть третья. Красное стекло



Глава 10. Гудок

За ужином Антон долго молчал, глядя в миску. Потом сказал:

— Я вот всё смотрю и слушаю. Урядник… несчастный случай… А насколько он честный? Вы поймите меня правильно, я не придираюсь.

Отец Василий с Петрушей переглянулись.

— Савельич честный, — уверенно сказал батюшка. — Въедливый, но взяток не берёт. Сорок лет его знаю.

Но Петруша покачал головой и понизил голос:

— Батя, так это ж не Савельич решал. На станции, на путях, там не урядник хозяин, а жандармы железнодорожные. Савельич только подпись поставил, что сельчанина опознали. А дело вёл унтер станционный, Кривцов. Тот, с усами, что на перроне ходит. Наши его не любят: с буфетчика берёт, с торговок, с извозчиков. Если ему кто сунул, чтоб Фому «несчастным» записать, не удивлюсь.

Антон вспомнил того самого усатого жандарма, мимо которого он прокрался в свой первый вечер в этом времени.

— На суде в Зарайске это выплывет? — помрачнел батюшка.

— Очень может быть. Очень… Если ему сунули, то те двое потащат и его за собой. А я чувствую, ему это ох как не нравится.

Стало тихо, только трещали дрова.

— Не нравится, это точно, — кивнул Петруша. — Кривцов мужик злопамятный. А ты ведь, Антон, беспаспортный пока? По временной бумаге? — Матушка замерла с половником в руке. — Жандарму такого прижать — раз плюнуть. Придерётся к бумаге, задержит «до выяснения», а там, глядишь, и свидетеля на суде нет. Без тебя Гаврила от своих слов откажется.

— Значит, до суда к станции ни ногой, — положил ложку батюшка. — И одному не ходить.

Петруша вдруг усмехнулся и хлопнул Антона по плечу:

— Ладно, не кисни. Я три дня тут, а на станции я свой. Пригляжу, послушаю. — Он подмигнул. — А матушка говорит, ты ребятишкам паровоз обещал показать? Завтра мой знакомец Лукич с товарным через Луховицы пойдёт, стоянка двадцать минут. При мне Кривцов к тебе не сунется. Приводи мальцов, пущу в будку.

— Честно скажу, очень мне не по нраву эта затея, с детьми особенно. Но сидеть сложа руки не смогу, иначе точно прижмут. Договорились.

* * *

Седьмого декабря, в полдень, было морозно и солнечно. На станцию шли всей гурьбой: Антон, Петруша в шинели, Петька, который всю дорогу подпрыгивал от нетерпения, и Егорка в новых валенках. Егорка молчал, но крепко держал учителя за рукав.

Товарный подошёл, пыхтя и окутываясь паром. Огромный чёрный паровоз, красные колёса выше Петьки, из трубы дым. Из будки высунулся седой машинист с прокопчённым лицом:

— Петруха! Это твои, что ль?

— Мои, Лукич. Ученики.

Ребятишки по очереди забрались по железной лесенке в будку. Внутри было жарко, как в бане. Кочегар распахнул дверцу топки, и оттуда ударил ослепительный оранжевый жар. Петька

ахнул, Егорка смотрел не мигая, и лицо его было в отсветах огня. Лукич показал регулятор, реверс, манометр с дрожащей стрелкой и хитро прищурился:

— А кто гудок даст?

Петька потянул руку, но Лукич смотрел на Егорку: видно, Петруша ему шепнул. Егорка подошёл и взялся за рычаг обеими руками. Лукич накрыл его ладони своей:

— Тяни, сынок.

Гудок разорвал морозный воздух, долгий, протяжный, на всю округу. Егорка отпустил рычаг и вдруг уткнулся лицом Антону в полушубок. Плечи у него вздрагивали. Лукич отвернулся и долго протирал тряпкой манометр.

* * *

Когда они спустились на перрон, у стены вокзала стоял жандарм Кривцов: усы, шинель, руки за спиной. Смотрел неотрывно. Петруша как бы невзначай встал между ними, но Кривцов всё же сказал, лениво, через его плечо:

— Учитель Сорокин? Наслышан. Бумаги-то ваши, говорят, временные. — Он улыбнулся одними усами. — В январе, глядишь, из Перми ответ придёт. Интересно будет почитать.

И ушёл в здание вокзала.

— Даю руку на отсечение, этот с теми заодно, — шепнул Антон Петруше.

— Руку не отдавай, пригодится. А вот голову береги. Погоди-ка тут с мальцами.

Петруша вернулся минут через пять с серьёзным лицом.

— С телеграфистом поговорил, с Яшкой. Кривцов на прошлой неделе депешу в Пермь слал. В губернское жандармское управление. Содержание Яшка не скажет, не положено, но фамилию твою в ней видел. — И громко, для всех, засмеялся, хлопая Петьку по шапке: — Ну что, машинисты, по домам! — А сквозь зубы добавил: — Ответ по жандармской линии быстрее волостного придёт. Не через три месяца. Недели через две-три.

— Это с одной стороны даже хорошо, — сказал Антон. — У меня целых две недели, чтобы расследовать это дело.

— Ты, Антон, чудной. Другой бы ноги уносил, а ты «расследовать».

* * *

По дороге домой, пока мальчишки обстреливали друг друга снежками, Петруша рассказал, что знал.

Ночь гибели Фомы была июльская, на станции стоял товарный под погрузкой. Дежурили трое: телеграфист Яшка, стрелочник дед Аким и сам Кривцов. Тело под утро нашёл дед Аким, между вагонами. Кривцов осмотрел и сразу сказал: пьяный, оступился. Врача из Зарайска не звали. А станционный буфетчик после той ночи с Кривцовым поругался и неделю буфет не открывал.

— Гаврила с Филатом сейчас в Зарайске, в тюремном замке, — добавил Петруша у батюшкиного плетня. — Следователь там, говорят, молодой и дотошный, Неверов. Если Кривцов им платил, они его сдадут, коли спросят. А спросит следователь, только если будет за что зацепиться.

— Ну, первое дело: где живут все? Яшка, Аким, Кривцов и буфетчик?

Петруша загибал пальцы. Яков Сомов, телеграфист, лет двадцати пяти, холостой, живёт при станции, в казённой комнате над телеграфной, на дежурстве через сутки. Дед Аким, стрелочник, под семьдесят, глуховат, но глазаст, живёт с бабкой в будке у дальней стрелки, с версту по путям в сторону Рязани. Кривцов с женой в жандармском домике сразу за вокзалом,

вечерами сидит в буфете. Буфетчик Тихон Пряхин, лет сорока пяти, свой дом в станционной слободке, жена и трое детей.

— Все у станции, под носом у Кривцова. Яшка и Аким люди надёжные. А Пряхин Кривцова боится, так просто не заговорит.

— А с церковью у них как?

Ответил уже отец Василий, вышедший на крыльцо. Дед Аким — его, крепкий, каждое воскресенье на клиросе басом подтягивает. Пряхин в храме редко, а вот жена его, Агафья, ходит исправно и мужа тихо пилит, что с жандармом водится. Кривцов бывает на царские дни и на Пасху, при мундире, в первом ряду, жертвует напоказ. А Яшка вольнодумец: газеты, книжки из Москвы, в церкви раз в год.

— Через Акима я могу. Через Агафью Анна может, они дружат. А Яшку тебе самому брать, он попов не жалует.

— Яша, Яша, вольнодумец, книги читает, — пробормотал Антон себе под нос. — Стало быть, умный…

— По субботам вечером он в чайной сидит, в углу, газеты читает да спорит с кем ни попадя: про аэропланы, про Маркони, — усмехнулся Петруша. — И ещё. У него гитара есть, семиструнная, из Москвы привёз. Как спорить не с кем, так бренчит романсы. Девки на станцию бегают слушать.

Матушка из сеней фыркнула: «Охальник».

Нынче как раз была суббота.

Глава 11. Махорка

К трём часам дня солнце уже клонилось к лесу за Окой, и снег синел. Петька с Егоркой убежали вперёд, к батюшкиному дому, а Петруша остался у плетня, сунув руки в рукава шинели и глядя в сторону станции.

— Ты пойми, Антон, — сказал он тихо. — Кривцов не дурак. Ежели депешу в Пермь послал, значит, копает. А раз копает, будет глядеть, с кем ты на станции якшаешься. Яшка-то через стенку от жандармского домика живёт.

Он достал кисет и свернул самокрутку.

— Петя, угости папиросой, — попросил Антон. — Что-то нервы нынче.

Петруша поднял бровь.

— Папиросой? Эка, барин нашёлся. Папиросы у нас Кузьмин курит да Кривцов. А у меня махорка моршанская. Не взыщи.

Он оторвал полоску от сложенной газеты и протянул кисет. Антон сворачивать умел, только там, дома, машинкой, а не руками. Первая самокрутка лопнула по шву: махорка была крупная, с палочками, которые прокалывали бумагу. Вторую он скатал туже, провёл языком по краю, прижал. Вышло толсто и криво, но держалось.

Первая затяжка оказалась злее привычного табака: горько, едко, в нос. Антон не закашлялся, только глаза заслезились.

— Ишь ты, — хмыкнул Петруша. — Свернул кривенько, как гимназист, а тянешь как наш брат кочегар. Где курить-то выучился? В Перми, что ль, махорку не курят?

— При заводе умельцы были. Я-то сам не курил тогда, только рядом дышал да глядел.

— На Мотовилихе, где пушки льют? Народ тёртый. — Петруша выпустил дым. — Только чудно: сам не курил, а затягиваешься, будто с пелёнок.

Больше он не допытывался, но взгляд у него на миг стал таким, каким машинист слушает стук колеса. Запомнил.

* * *

После щей Антон ушёл за занавеску, к своей лавке у печи, и сел спиной к горнице. У него был свой замысел, о котором он не сказал никому. Из кармана он достал то немногое, что осталось у него от того времени: шариковую ручку и блистер мятной жевательной резинки в фольге. Открутил корпус ручки, надрезал ножом прозрачную трубку стержня и долго, по капле, выдавливал густую синюю пасту в дырочки, проколотые в фольге. Хватило на четыре подушечки. Внутрь паста не впиталась, но снаружи они стали синие и липкие.

Пальцы он берёг, но на ногте большого пальца всё же осталось синее пятнышко, которое не оттиралось.

— Пойдёшь, значит, — сказал батюшка, когда Антон вышел к столу. Это был не вопрос.

— Один? — Петруша поднял глаза от миски.

— Убить он меня не убьёт, слишком смело для него, — сказал Антон. — Побить — может, ничего, заживёт. А вот отвести на станцию да запереть где-нибудь — это вполне в его духе. Если хочешь, Петь, я не настаиваю: не вернусь к концу всенощной — покарауль у станции. Ты её лучше меня знаешь.

— Запереть может, — кивнул Петруша. — При вокзале у жандармов арестантская, каморка с решёткой. Запрёт «до выяснения личности», а утром в Зарайск. Законно, не придерёшься. — Он отложил ложку. — Ладно. Только не у станции: там я на виду. Я в чайную приду погодя, сам по себе, сяду у двери с путейцами. К тебе не подойду, будто и незнаком.

Пойдёшь домой — я следом, шагах в тридцати. Свистну вот так, — он тихо, коротко свистнул, как снегирь, — значит, рядом.

Батюшка надел тёплую рясу и у порога сказал:

— А ежели всё ж запрёт, Петруша, сразу ко мне. Священника жандарм не посмеет не выслушать.

И ушёл ко всенощной.

* * *

Чайная Кондратьева стояла в слободке: низкий бревенчатый дом с вывеской и замёрзшими окнами в жёлтом свете. Когда Антон открыл дверь, на него пахнуло паром, махоркой, мокрыми валенками и кипятком. Человек пятнадцать: путейцы в засаленных куртках, двое извозчиков в тулупах, какой-то мещанин. На стойке пыхтел медный самовар, половой в белом фартуке носился с чайниками. Пара чаю стоила пятак, баранки по копейке. Водки не подавали: пост, да и чайная.

В дальнем углу, под керосиновой лампой, сидел молодой худой парень в форменной тужурке телеграфиста нараспашку, с тонкими городскими усиками, над развёрнутым «Русским словом». У стены стояла гитара в чехле.

— …а я тебе говорю, Ерофеич, будут летать! Через океан, как птицы!

Пожилой путеец махнул рукой и ушёл к своим. Антон подошёл:

— Могу ли я составить вам компанию? Уж больно интересно, кто и куда летать собрался.

Яшка узнал его сразу: днём видел на перроне с мальчишками.

— Учитель! Сорокин, верно? Садитесь. Хоть один образованный человек, а то тут одни Ерофеичи.

Тут Антон спохватился, что денег с собой не взял.

— Господин Яков, не изволите ли для поддержания беседы угостить меня чаем? Я жалованье своё подзабыл.

Яшка расхохотался:

— «Господин Яков»! Меня так только начальник станции величает, когда штрафует. Митрий! Пару чаю учителю да баранок связку! — И, разливая: — Яков Ильич, коли на то пошло.

Он тут же заговорил про аэропланы: про англичан из «Дейли Мейл» с их премией за перелёт океана, про Сикорского и его четырёхмоторного «Русского витязя», что летом целый час носил людей над Петербургом.

— А вы что скажете, учитель? Тоже скажете, что не положено?

— Отчего же. Будет человек летать. Раз награду назначили, стало быть, задумки есть. Ради безумной идеи деньги не тратили бы.

Яшка просиял, а потом спросил, правда ли в Перми, на Мотовилихе, по цехам уже электричество.

— Слыхал, но не видал. Закрытая больно информация была. Не для каждого.

— «Информация», — повторил Яшка с удовольствием. — Словечко-то учёное. У нас так только в газетах пишут.

Хлопнула дверь, впустив морозный пар. Антон, будто в задумчивости, повернулся вполоборота. У порога обивал снег Петруша; на Антона он не взглянул, кивнул путейцам и сел с ними у двери.

Яшка понизил голос:

— А Кривцов наш тоже до информации охоч. Вы его сегодня на перроне видали?

— Видал, конечно. Приличный такой, в шинели. Позвольте полюбопытствовать, это у вас не гитара ли?

Яшка задержал на нём взгляд — «приличный» он оценил по-своему, — но тему не продолжил. Стянул чехол: тёмная, лакированная, с потёртой декой.

— Семиструнная, московская. Полгода жалованья отдал. Романсы играю. А вы, учитель, никак играете? Глаз-то загорелся.

— Знаю одну пермскую песню. Вы её не слыхали.

* * *

Антон взял гитару и заиграл тихо, вполголоса, не для зала, а почти для одного Яшки. Пальцы нашли своё сами, будто он играл на ней всю жизнь.

Мелодия была здешнему уху непривычна: ни романсовой тягучести, ни плясового перебора, ровный упругий бой с ударением не там, где ждёшь. Сначала путейцы переглядывались, кто-то хмыкнул. Но на куплете про родную землю и одного Бога над всеми старики за столом Ерофеича перекрестились. На дедовых рассказах про честь и отвагу Ерофеич подпёр щёку кулаком, а у одного путейца, видно, старого солдата с японской, лицо стало таким, будто он вспомнил своё. К припеву кто-то из извозчиков начал притопывать валенком в такт, а на последнем повторе пара голосов попробовала подтянуть, не зная слов.

Когда последний аккорд погас, секунду было тихо.

— Чудно, — крякнул Ерофеич. — А за душу взяло. Про отца-то. Ещё раз бы, учитель!

— А «включай» — это чего включать-то? — басил извозчик. — Лампу, что ль?

Кто-то засмеялся.

— Это в Перми так поют? — спросил Яшка, бережно принимая гитару, как что-то хрупкое. — И словечко там одно, про вязаную одёжку, — это ж по-английски! Откуда у пермских заводских английское?

— На заводе сочинили. Не помню точно имён всех, по-моему, одного Родионом звали.

Яшка открыл было рот, но тут наклонился ближе, и голос у него стал тихим, без бравады:

— Вы человек хороший, видно. Скажу вам, раз уж про Кривцова начали. Депешу в Пермь он через меня отбивал, я сам ключом стучал. Содержание сказать не могу: служба, присяга. Но ответ придёт тоже через меня. И я его прочту раньше, чем Кривцов. — И громко, для всех: — Так перелетят океан или нет?

— Ну коли придумают, как паровоз в аэроплан запихнуть, воистину полетят.

Чайная грохнула смехом.

— Да не паровоз, мотор! — загорелся Яшка. — На бензине!

— Ах, мотор, точно, как не догадался. — И тихо: — Ничего не бойся, Яша, но будь предельно осторожен. — И снова громко: — Бензин, говоришь? А керосин-то, я считаю, лучше будет.

— Тяжёл он для мотора, коптит!

— Керосин, Яша, керосин. Но непростой. Почитай газет, может, и встретишь когда.

Яшка прищурился, будто ему загадали загадку.

— Запомню, учитель.

Пока они говорили, Антон невзначай оглядел зал. Одного человека он раньше не приметил: мещанин за столиком у печки, лет сорока, в пальто с барашковым воротником, при часах на цепочке. Перед ним стоял давно остывший стакан. Когда пели, он один не обернулся, а когда смеялись над паровозом — не засмеялся. Сидел лицом к их столу и читал газету, ни разу не перевернув страницы. А при строчке про гостей и земляков впервые поднял от неё глаза.

* * *

Перед уходом Антон сунул руку в карман, развернул тряпицу и выдавил в ладонь все четыре синие подушечки. Зачем — знал только он сам.

На крыльце его догнал мещанин в барашковом воротнике и закурил папиросу.

— Холодно нынче. А поёте вы, господин учитель, занятно. Не по-здешнему.

— Да сам с Перми буду. А папиросой угостите?

— Отчего ж. «Сафо», фабрики Асмолова.

Антон взял папиросу левой рукой: правую он так и не вынул из кармана. Мещанин это отметил взглядом, но промолчал.

— Пермский, значит. А говорок у вас не пермский. Пермяки «окают» помягче. А у вас выговор московский, только чудной какой-то. Это я так, от скуки. Привычка: по выговору людей угадывать. Служба такая была. — Он кивнул на станционный фонарь. — Нам, кажется, по пути?

— Не по пути, — сказал Антон и, попрощавшись, свернул за угол ближайшего сарая.

Там он постоял в темноте. Шаги мещанина неторопливо удалились к станции. Через минуту из чайной вышел Петруша и тихо свистнул снегирём. Антон пошёл главной дорогой.

У переезда станция была как на ладони. На крыльце жандармского домика стояли двое: огонёк папиросы и высокая фигура в шинели, с чем-то длинным у бедра. Фигура повернула голову к переезду. Антон в пять шагов оказался у стены будки переездного сторожа и замер.

Шинель смотрела в темноту с полминуты. Потом оба ушли в дом. Через несколько минут мещанин вышел один и пошёл прямо к переезду. Остановился у шлагбаума, в трёх шагах, по ту сторону стены. Затянулся. Окурок прочертил красную дугу и зашипел в снегу.

— Мороз-то какой, — сказал мещанин в темноту, ни к кому не обращаясь. — Доброй ночи, господин учитель.

И ушёл по сельской улице. Видел ли он его или сказал наугад, понять было невозможно.

Из темноты выступил Петруша.

— Видал, кто это? Ведерников. Отставной околоточный надзиратель из Москвы. Второй год тут живёт, дом с мезонином купил у вдовы Сычёвой. С Кривцовым в буфете в шашки играют.

Они пошли к селу. В окне мезонина неподвижно стоял силуэт и смотрел на улицу.

* * *

Дома Антон заметил, что пальцы правой руки синие от пасты. Чтобы их не разглядели, он обмотал ладонь тряпицей, а липкий комок переложил в левую, и пошёл в храм достоять всенощную.

Шёл полиелей. Под куполом плыл кадильный дым, с клироса гремел густой бас: дед Аким, седой, с закрытыми глазами, пел всей грудью. На женской половине у иконы Николы клала поклоны полная баба в тёмном платке. Матушкина подруга шепнула про неё: Агафья Пряхина, жена буфетчика.

— Поранился, учитель? — покосился на повязку сосед.

Антон молча кивнул.

На помазании отец Василий задержал взгляд на перевязанной руке и чуть строже обычного вывел крест на лбу.

Дома, за самоваром, Антон снял повязку и положил руку на стол.

— Чернила, батюшка. Всё со мной хорошо.

Матушка всплеснула руками. Батюшка, знавший, откуда Антон, понял, что дело не в школьной чернильнице, но промолчал.

— Чернила? — усмехнулся Петруша. — Ты ж в чайной был, а не в школе. Да ещё и руку замотал, будто от кого прятал. Ладно, твоё дело. Ты лучше про Яшку расскажи. И про Ведерникова.

Глава 12. Шпоры

Антон рассказал всё, кроме своего коварного замысла. Не хотел пугать стариков.

— Яшка — это хорошо, — сказал Петруша. — Яшка слово держит. А Ведерников… Это хуже Кривцова. Кривцов дурак злой, а этот умный.

Батюшка решил: завтра после обедни дед Аким, как всегда, зайдёт за просфорой, и он с ним поговорит. А матушка позовёт на пироги Агафью.

— А песню твою, учитель, вся слободка завтра обсуждать будет, — прищурился Петруша. — Пермская, говоришь?

— Конечно, пермская. Заводская, если совсем точно. А уж откуда родом те, кто её написал, я и не знаю.

Петруша хмыкнул и больше не спрашивал.

Когда старики стали стелить постели, Антон, ехидно, но по-доброму улыбаясь, подмигнул:

— Петруха, а не выйти ли нам подышать свежим воздухом?

На крыльце он протянул ему ведерниковскую «Сафо».

— Хотел угостить. А заодно подумал: мало ли, ты что знаешь про этого Ведерникова, да при матушке сказать не решаешься.

Петруша заложил папиросу за ухо и долго молчал, попыхивая козьей ножкой.

— Знаю, да не всё. В депо у нас кочегар, у него брат в Москве в сыскной служил. Помнишь дело Рейнбота, градоначальника московского? Его за взятки судили, всю московскую полицию перетрясли. Вот и Ведерникова тогда «по болезни» отпустили. Без суда, тихо. — Он стряхнул пепел через перила. — Пенсия у него грошовая, а дом купил с мезонином. И в рост даёт, под расписку. Половина слободки ему должна. Пряхин, говорят, тоже.

— Их тут далеко не двое, — сказал Антон. — Мелкие сошки. В Москве покрупнее сидят.

— Ворованные бочки-то куда-то девались, — задумался Петруша. — Только, Антон, тебе с ними не тягаться. В Москву не лезь, там за таких, как ты, и не спросят. — Помолчав, добавил: — Послезавтра я в Москву еду. На Болотной у меня кум торгует. Могу поспрашивать, кто у Гаврилы огурец брал.

— Если тебя это не сильно затруднит. Очень тихо. И осмотрись: подозреваю, за нами следят.

Петруша, разминая шею, огляделся. Улица была пуста. Только далеко внизу, где она загибалась к переезду, светилось окошко мезонина.

— Только этот не спит, — шепнул Петруша. — Ну и пусть глаза пялит.

Петруша ушёл в дом. Антон постоял ещё минуту. Над куполом храма тянулся Млечный Путь, какого в его времени над Луховицами не увидишь из-за фонарей. Огонёк в мезонине мигнул и погас. Где-то на станции протяжно гукнул паровоз.

* * *

Утром, в воскресенье, ещё затемно, Антон вышел с фонарём обойти двор. У крыльца были только вчерашние следы. Но у угла церковной ограды, напротив батюшкиной калитки, он остановился.

Пятачок снега был плотно утоптан: кто-то долго стоял и переминался. Следы не от валенок, а от сапог, узких, с каблуком, и у каждого каблука тонкая чёрточка. Такую оставляет шпора. Лежали они поверх тропы из храма: значит, стояли уже после всенощной. Пришли со стороны переезда и ушли туда же. Рядом в снегу темнел окурок папиросы.

На крыльце он столкнулся с батюшкой, выходившим к обедне.

— Ты чего, Антон? Будто покойника увидал.

— Да Бог с вами, батюшка. А вы будьте осторожны. Недоброе у меня что-то предчувствие.

— Предчувствие бывает от ангела-хранителя, а бывает от лукавого, — улыбнулся в бороду батюшка. — Помолись и разберёшься.

У калитки он остановился и оглянулся на угол ограды, будто что-то почувствовал.

Антон оттёр руки щёлоком и песком: синева сошла, только под ногтями осталась голубоватая каёмка. Потом взял коромысло и пошёл к общему колодцу через два двора. Плечо помнило бабью науку, вёдра почти не плескали.

— Гляди-ка, учитель наш наловчился, — сказала знакомая баба. А молодая, понизив голос, добавила: — Слыхали? Вечор учитель у Кондратьева песню пел. Мой-то Ерофеичу кум. А ещё говорят, господин Ведерников после того к жандарму ходил. До ночи сидел.

* * *

Обедню Антон отстоял с Петрушей у выхода. У противоположной колонны стоял Ведерников и ни разу не обернулся, только на «Херувимской» взгляд его на секунду задержался на учителе.

После отпуста Антон встал в притворе у окна, будто ждал батюшку, и смотрел в протаянный глазок. Ведерников не ушёл: стоял у коновязи и курил. Когда из храма вышла Агафья Пряхина, он бросил папиросу, пошёл ей наперерез, приподнял шапку и что-то сказал с улыбкой. Агафья застыла как вкопанная, слушала, опустив голову, а потом почти бегом ушла к слободке. Ведерников неспешно направился к переезду.

— Долгом прижал, не иначе, — сказал Петруша.

— Смею предположить: если ничего не предпринять, её сегодня в гостях мы не увидим. Долг, значит. Интересно сколько.

Петруша не знал. Но знал другое: Ведерников даёт под гривенник с рубля в месяц.

Дома дед Аким уже сидел за самоваром с батюшкой. Невысокий, жилистый, белая борода до груди, глаза светлые и цепкие. Антон и Петруша ушли во двор, дать старикам поговорить.

Когда Аким ушёл, батюшка пересказал:

— В ту ночь, июльскую, товарный стоял под погрузкой на дальнем пути. Около полуночи Аким видел, как Фома прошёл вдоль вагонов к хвосту. Трезвый, ровно шёл. А с полчаса спустя от хвоста вернулся Кривцов. Один, с фонарём. Быстро шёл. А Фомы назад не было. Утром Аким сказал: «Я его видал, трезвый был». А Кривцов ему: «Тебе, дед, семьдесят лет, ты глухой и слепой, на посту спишь. Будешь болтать — напишу начальству, без пенсии останешься». Полгода старик носил это в себе.

— Да-а, — протянул Антон. — Никому не нужны будут… Но ладно, до следователя ещё далеко.

Петруша вернулся из чайной с новостями: Ведерников утром отбил частную депешу в Москву, а про вагоны путейцы и не скрывают — Кривцов за них берёт, с огородника рубль-два, с купца и пять, и начальник станции, говорят, в доле.

— По итогу новостей не густо, — сказал Антон. — Но ничего, Бог пошлёт и на этих управу найдём.

Матушка вернулась от Агафьи с нетронутыми пирогами: Тихон не пустил. Но у калитки Агафья шепнула ей скороговоркой: «Скажи учителю: мы Ведерникову восемьдесят рублей должны, по векселю, срок на Рождество. Он нынче сказал: если я у попадьи язык распущу, подаст к взысканию, и буфет отберут, и избу. А Тихон в ту ночь, июльскую, что-то видел. С тех пор пьёт и молчит».

* * *

Антон быстро собрался к купцу Кузьмину. Один.

— Федот Игнатьевич, слыхали ли вы, что мной интересуется Ведерников?

— Слыхал, — нахмурился Кузьмин. — Пиявка он. Я мужикам до урожая даю под десять в год, по-божески, а он под сто двадцать. Мои должники ему перезанимают, а мне взять не с кого.

— Пряхин ему должен аж восемьдесят рублей. Сына в школу не отпускает, сам пьёт. Пропадает, одним словом.

— А тебе-то что? Не за Тихона ж ты в воскресенье прибежал. — Кузьмин наклонился через стол. — Чего хочешь? Чтоб я долг его перекупил? Да что мне с того?

— Ну ежели во всём искать пользу и выгоду, Федот Игнатьевич, можно и Бога прогневить. Отдам из жалованья, коли сам не захотите.

Кузьмин крякнул и покосился на иконы.

— Проповедь мне читаешь. Ладно. — И, помолчав: — Ты ведь про Кривцова пришёл?

Антон молча показал на дверь. Кузьмин рывком её распахнул: за ней, прижавшись к стене, стояла пунцовая Дарья с пустым подносом. Он прогнал её вниз и посадил на лестнице Степана.

Антон рассказал: что Кривцов пристал к нему не просто так, что началось всё с Гаврилы, что с Фомой дело нечисто, а Пряхин что-то знает.

Кузьмин долго смотрел в окно на свой двор.

— Связаны они, Гаврила с Кривцовым. Через меня связаны. Осенью вагонов не хватает. Все дают жандарму, и я давал. Через Гаврилу. — Он криво усмехнулся. — А в ту ночь, учитель… Мы тогда свежий огурец гнали, июль, самый сбор. Вагон мой на дальнем пути стоял, под погрузкой. И при нём был Гаврила. А Фома ко мне приходил за три дня до того. Я в Москве был. Гаврила сказал: насчёт работы для жены.

— Кривцов за меня не просто так взялся, — сказал Антон и перекрестился. — Скорее всего, они причастны.

Решили так: деньги на вексель Тихона Кузьмин дал, восемь красненьких, с вычетом из жалованья Антона по десятке в месяц. Отнесёт их не Антон, а матушка, Агафье. Акима прикроет начальник станции, Кузьмин тому кое-чем обязан. А сам Кузьмин наутро поедет в Зарайск, к исправнику и к судебному следователю Неверову.

— Диктуйте, Федот Игнатьевич.

Кузьмин, сложив руки на животе, продиктовал письмо начальнику станции Николаю Карловичу Штолю: почтительнейше просит покровительства стрелочнику Акиму Никифорову, человеку престарелому и богобоязненному, «дабы старик не был обижен без вины». Про Кривцова — ни слова. В конце намекнул на «будущий сезон отправки огурца». И с трудом вывел крупную кривую подпись.

— Начальник не дурак, сам поймёт, от кого Акима беречь.

* * *

Письмо понёс Петруша, в сумерках. Антон пошёл другой дорогой, задами через слободку, чтобы его не видели вместе. На третьем дворе собака всё-таки подняла лай на всю слободку, и он долго стоял, прижавшись к стене бани, пока кто-то не крикнул с крыльца: «Цыц, окаянные!»

У казённого дома Штоля, за водокачкой, Петруша уже звонил в дверь. Начальник станции, сухой, в пенсне и домашней тужурке, читал письмо при свете фонаря.

— Передайте Федоту Игнатьевичу: старика Никифорова без моего ведома никто не уволит. Это я могу обещать. — Он перевёл взгляд на Антона. — А более того я ни в чём не волен. Жандармская полиция мне не подчинена. Это вам тоже стоит знать.

Назад шли по перрону, быстро, пряча лица в воротники. У буфета дверь распахнулась, и на крыльцо с ведром помоев вышел грузный мужик в фартуке, с красным лицом и мешками под глазами. Тихон Пряхин. Увидел Петрушу, потом Антона, замер с пустым ведром и молча ушёл внутрь. Из буфета донёсся густой голос: «Тихон, где ты там? Неси ещё!»

— Тихон-то тебя признал, — сказал Петруша уже за переездом.

Дома Антон сказал:

— Петруша, расскажи матушке с батюшкой. А я, пожалуй, переночую в церкви.

— В храме мирянину ночевать не положено, — ответил батюшка. — Боишься, что ночью придут? Жандарму что сторожка, что изба — всё одно. А у меня в доме он хоть батюшки постесняется.

— А постесняется ли, батюшка? Накликаю я на вас беду.

— Беду не ты накликал. Её Гаврила накликал, когда огурец воровал. И тот, кто Фому под вагон уложил. Ты только свет на неё навёл. Свет беды не делает, он показывает. — Батюшка поправил лампадку. — Бегать — значит признавать, что виноват.

— Хорошо, батюшка. Я останусь.

Ночью никто не пришёл.

Глава 13. Сотня

В понедельник, в шесть утра, Петруша, уже в шинели и с сундучком, разбудил Антона:

— Ну, учитель, мне на семичасовой. Про Болотную и про кума я помню.

Антон поднялся и раскинул руки, чтобы обняться напоследок.

— Про себя обещать не могу, врать не буду. А батюшку с матушкой сберегу. Даю слово.

Петруша на секунду растерялся, потом крепко, по-медвежьи, обнял его.

— Врать он не будет… Чудной ты, Антон. Ей-богу, чудной. — Он отстранился, держа его за плечи. — Ежели что, пиши в депо, на Московско-Казанскую, помощнику машиниста Петру Васильеву. Хоть ночью приеду.

Скрипнула калитка, и шаги стихли в сторону станции.

* * *

— Здравствуйте, дети, — сказал Антон.

Тринадцать ребятишек с грохотом встали и нестройно протянули: «Здра-а-авствуйте, Антон Ива-а-анович!» После молитвы Петька, не дожидаясь разрешения, выпалил:

— А правда, вы в чайной песню пели? Про «включай»? А что включать-то?

Класс прыснул.

— Как что, Петя? Конечно же, счёт, — улыбнулся Антон. — И давайте напомним правила: с места никто не встаёт и не говорит. А если кто хочет что-то сказать, что он делает?

Десяток рук взлетел разом, а Груня не удержалась и выкрикнула: «Руку поднять!» — и тут же зажала рот.

— Но раз уж вам интересна песня, я могу кое-что предложить.

Предложения посыпались сами: разучить песню к ёлке; спеть, если весь класс до ста сосчитает; придумать песню, чтоб считать. А последним поднял руку Егорка, который при всех почти не говорил:

— А про отцов… можно и нам про неё?

— Так и поступим, — сказал Антон. — Вы будете прилежно учить счёт до ста. А я спою, и разучим, если Мария Петровна разрешит. А чтобы она была к нам благосклонна, придётся потрудиться. Итак, кто знает счёт до ста?

Петька споткнулся на сорока одном. Тимоша дошёл до «тридцати десяти». Ваня Малый гордо досчитал до двадцати и сел, отдуваясь, будто воз отвёз. Груня знала только десятками. А Егорка ровно, без единой ошибки, сосчитал до ста и сел с горящими ушами.

— Если к Рождеству все ваши до ста считать будут, — сказала со своей половины Мария Петровна, — песню я разрешу. И батюшку уговорю.

— Мы же не подведём её?

— Не-е-ет!

Хуже всех писали Дуня, Стёпка и Маня Кузьмина, восьмилетняя внучка купца.

— Ну, один я тут не справлюсь, — задумчиво сказал Антон. — Нужен помощник. Мария Николаевна, поможешь мне?

По имени-отчеству ребятишек отродясь никто не величал. Маня покраснела как рак.

— Я? Я ж и десятку путаю…

Но вышла к доске.

— Дети, запомните, — сказал Антон мягко, но твёрдо. — Никогда не бойтесь на уроках ошибаться. Вы сюда для этого и пришли: научиться. И вместе мы обязательно всему научимся.

Маня написала цифры от единицы до десяти, ряд полз вверх, а на десятке вывела «01» и сломала от смущения мелок.

— Ты всё делаешь правильно, только перепутала местами ноль и единицу. — И всем: — Я могу показать вам один приём, чтобы не путаться в цифрах. Но для этого нужна тишина.

* * *

Это была старая легенда, а не правда: будто бы цифры когда-то рисовали так, чтобы в каждой было столько углов, сколько она значит. Но Антон подал её как игру.

— Что есть у нашей школы, у доски, у скамьи, а у нуля нет?

— Ножки! — крикнул Петька. — Дверь? — предположила Дуня. — Краска? — пробасил Ваня Малый.

— Уголков, — прошептала Маня и, зажмурившись, громко повторила: — Уголков!

Антон нарисовал вверху доски угловатые цифры, будто вырубленные топором, а под каждой обычную, как по прописям.

— Мастер углы обтесал, — тихо сказал Егорка. — Как батька бочку строгал: сначала топором, потом рубанком.

— Запомнили, как считать цифры? — хитро улыбнулся Антон. — Только Марии Петровне не говорите. Это наш с вами секрет.

— Я ничего не слышала, — громко сказала Мария Петровна своим старшим. — Продолжаем диктант.

Потом Маня написала столбиком от единицы до девятки, стёрла десятку и вдруг заметила, что ноль «потеряли». Приписала ноль к единице, и десятка вернулась. Дуня под десяткой написала единицу и сама догадалась, что под нулём пусто, и получилось одиннадцать. Стёпка дошёл до девятнадцати и остановился: «Девятка кончилась. Опять ноль? Так это ж десять, а десять уже есть». А Сенька, брат Стёпки, после долгого молчания зажмурился и выпалил:

— Тогда спереди уже не единичка, а двойка! Двадцать!

Дальше дети выходили по одному, от самых слабых, и столбики росли. Настя написала «52» вместо «25», сама нахмурилась и исправила. Клим громко сказал «четырьдесят», и Антон рассказал им про древних купцов, которые меха считали связками по сорок соболиных шкурок, на шубу, и прятали связку в мешок-«сорок». Ваня Малый мечтательно прошептал: «Сорок соболей…» Настя на девяностом запнулась, и весь класс хором подсказал: «Девять до ста!»

А последней по кругу вышла Маня и внизу, отдельно, написала три цифры: 100.

— Сто! Сотня! Три цифры, как Груня спрашивала!

Класс захлопал без разрешения.

* * *

На перемене Мария Петровна долго разглядывала исписанную доску.

— Антон Иванович, я три года их учу. Маня с прошлой осени десятку не писала. Где вы этому научились? В епархиальном училище нам такого не показывали.

— На заводе маленький был. Приехал к нам один человек из-за границы, имени уж не вспомню. Видно, я ему приглянулся, он и рассказал.

— Только про соболей-то и про «девять до ста» вам иностранец рассказывал? — Глаза у неё смеялись. — Да вы не тревожьтесь. Я не допытываюсь. У каждого своё прошлое. — Она помолчала. — А песню к ёлке вы мне так и не рассказали.

Гитары не было, и Антон спел просто голосом, вполголоса, у исписанной доски. Без перебора песня звучала проще, почти как духовный стих. На куплете про родную святую землю

лицо у Марии Петровны переменилось. А на припеве про два берега одной реки она отвернулась к окну, на белую Оку.

— Про Оку, — сказала она тихо. — Как будто про Оку писано. Батюшка, думаю, благословит. Только «включай»… Может, для ёлки «запевай»?

— Да, хорошо.

Под конец Антон спохватился, что за счётом совсем забыл урок чтения, и сам ей в этом признался.

— Я заметила, — улыбнулась она. — Спасибо, что сами сказали. Завтра наверстаете. А вообще, когда дети так горят, жалко их останавливать.

* * *

Тимоше было обещано: до ста сосчитают — споёт. Слово надо держать.

— Дети, уговор дороже денег. Раз вы своё выполнили, выполню и я.

Петька начал отстукивать ладошкой по парте, на него шикнули, но через куплет кончиками пальцев стучала половина класса. Груня по-взрослому перекрестилась. А когда дошло до дедовых рассказов, Антон увидел Егорку: тот сидел очень прямо и смотрел в окно, на станцию, где дымил паровоз, и по щеке у него ползла слеза. Петька молча придвинулся к нему плечом.

— Хорошая какая, — пробасил потом Ваня Малый.

Потом шестеро самых неуверенных снова вышли к доске и уже сами, передавая мел друг другу, написали всё до ста. А Мане и Дуне Антон начертил таблицу: сверху единицы от нуля до девяти, слева, за чертой, десятки. Показал два пальца — «два десятка». Девочки поняли. Дуня, которой было семь, сама сложила свои годы с его тридцатью двумя, шагая пальцем по клеточкам. А Маня, вычитая, вдруг сделала открытие:

— Десять назад — это на строчку вверх?!

Потом обе встали спиной к доске и показали классу на пальцах шестьдесят четыре: Маня десятки, Дуня единицы.

* * *

В конце дня Мария Петровна сказала, натягивая синее пальто:

— Батюшка благословил. Песню на ёлку можно, с «запевай». — И тише: — Хороший сегодня был день, Антон Иванович.

— Ну вообще-то они и складывать, и вычитать десятки почти научились, — пробормотал Антон себе под нос.

Дома матушка, утирая глаза, рассказала, что поймала Агафью на проруби, когда бабы уже расходились, и шепнула ей про деньги на вексель. Агафья заплакала прямо над прорубью и обещала вечером, как Тихон уйдёт в буфет, прийти «за закваской».

— Только на проруби была и Фёкла, кухарка Ведерникова. Стояла поодаль, а сама всё на нас косилась.

— Если слышала — хорошо, передаст, пусть понервничает, — задумался Антон. — Если нет — тоже неплохо. Нервные люди склонны совершать ошибки. Дорогие ошибки. Опасно, конечно, очень опасно. Но надо раскачать его из привычного состояния.

— Волк, когда его загоняют, кусает не охотника, а того, кто ближе стоит, — ответил батюшка. — Тебя он тронуть побоится. А Агафья? А Тихон? А дед Аким? Думай, на чьих плечах твоя игра.

— Я понимаю, батюшка. Буду думать, как не дать их в обиду.

Глава 14. Окурок

Без десяти три Антон вышел на крыльцо покурить и заодно оглядеться. Солнце садилось за Окой, снег розовел.

Окурок у столба церковной ограды так и лежал, вмёрзший в снег. Антон перешёл улицу и поднял его. Папиросный, с длинным картонным мундштуком, сжатым не гармошкой, а крест-накрест, двумя плотными заломами, и изжёванным: на картоне следы зубов. У гильзы полустёртое синее клеймо: «Зефиръ». Такие продавались в кузьминской лавке по десять копеек десяток.

На ледяной горке за храмом катались слободские мальчишки, и среди них мелькал рыжий вихор из-под шапки. Всякий раз, поднимаясь с санками в гору, рыжий оглядывался на батюшкин дом. Сейчас он стоял наверху и смотрел прямо на учителя, подобравшего что-то у ограды.

Антон выпрямился и махнул ему: иди-ка сюда.

Мальчишка нехотя спустился и встал шагах в пяти, держа санки между ними, как щит. Лет десяти, худой, веснушчатый, в зипуне с чужого плеча и в отцовских валенках не по ноге.

— Чего, дяденька учитель? Я ничего не делал. Я катаюсь.

— Я думаю, нам познакомиться надо. Антон Иванович Сорокин. А тебя как зовут?

— Знаю. Все знают. Сенька я. Семён Лапин по отцу. А кличут Рыжим. Отца нету, у тётки живу, у Аксиньи. В школу не хожу: тётка говорит, работать надо.

— О как. А какая нынче работа у тебя?

— Разная. Кому дров наколоть, кому воды натаскать. На станции вещи господам поднести за копеечку. В буфет к дяде Тихону сбегать. — Взгляд его против воли скользнул вниз по улице, к дому с мезонином.

— Вот это да. Это ж ты взрослый такой. Но если ты считать не умеешь, как поймёшь, что тебя с копеечкой не обманули?

— Это я-то не умею? — вскинулся Сенька и затараторил, загибая пальцы: — Грош — полкопейки. Алтын — три. Пятак — пять. Гривенник — десять. Пятиалтынный — пятнадцать. Полтина — пятьдесят. Меня не обманешь! — И потише: — Только на бумажке не знаю. Дядя Тихон раз записал, что я ему пятак должен за сбитень, а я не брал. А как поспоришь, ежели там написано?

— А ты говоришь, не надо. Ну, смотри сам, надо тебе это или нет.

Антон повернулся и пошёл к калитке. Шагов через пять за спиной заскрипел снег.

— Дяденька учитель! А учиться — это сколько стоит?

— Это очень дорого, очень. Но не в деньгах. Надо много трудиться. Приходи завтра и сам всё увидишь, поймёшь. А потом и решишь.

— Поглядеть можно, — кивнул Сенька. — Только тётке не говорите.

У калитки мезонина он замедлил шаг, постоял, глядя на окна, мотнул головой, будто спорил сам с собой, и пошёл дальше, мимо, в слободку.

Вскоре от мезонина отделилась женская фигура с корзинкой и быстро пошла вниз, к переезду. Фёкла.

Антон вернулся к столбу ограды, закурил и посмотрел вокруг глазами того, кто стоял тут ночью. Отсюда калитка и крыльцо батюшкиного дома были видны как на ладони, а в окне горницы, поверх морозного узора, двигались тени. Сам же стоящий оставался в густой тени колокольни. Удобное место. Знал, где встать.

Дома он попросил матушку завесить окно. Она молча повесила старую клетчатую шаль.

— Что, глядят? — спросил батюшка от стола.

* * *

Батюшка сходил в сторожку к Митричу, церковному сторожу, и попросил его вечером поглядывать за углом ограды. Вернулся задумчивый.

— А ещё Митрич сказал: в субботу после всенощной он видел у угла человека. Шинель, фуражка, на боку шашка, усы. Окликнул: «Кого Бог принёс?» А тот развернулся и ушёл к переезду, не ответив. Шпоры звякали.

Матушка перекрестилась.

Антон ушёл в тёмные сени, придвинул к оконцу кадушку и сел. Через дорогу чернела ограда, правее тускло светилось окошко сторожки: Митрич был на посту.

Около половины пятого вниз по улице прошла Фёкла, уже с полегчавшей корзинкой, и свернула к мезонину. Угол ограды был пуст. В пять гукнул паровоз на станции.

Без двадцати шесть по улице, почти бегом, прошла невысокая полная фигура, закутанная в платок по самые глаза, с пустым кувшином. У калитки оглянулась и проскользнула во двор. Дверь в сени распахнулась, и Агафья, не разглядев в темноте человека на кадушке, ахнула и выронила кувшин. Тот глухо стукнулся о половицу и не разбился. Матушка с лампой уже стояла в дверях:

— Агафьюшка, не пугайся, это Антон Иваныч, он тут… сторожит.

Агафью увели к самовару. Антон остался у оконца.

Минут через пять у столба ограды появилась маленькая фигурка в большом зипуне и огромных валенках. Без санок. Рыжий вихор. Сенька постоял с полминуты, глядя на калитку и занавешенное окно, потоптался, шагнул вниз по улице, к мезонину, остановился, шагнул обратно. Потом медленно, опустив голову, пошёл вниз. У калитки мезонина долго стоял. Калитка открылась, и он вошёл.

В сторожке тень Митрича отодвинулась от окна.

* * *

Антон вошёл в избу.

— Сенька Рыжий видел, как вы вошли, и ушёл к Ведерникову. Вам пора домой. И не улицей, задами.

Агафья побелела и вскочила, путаясь в платке. Потом вдруг схватила Антона за рукав и заговорила быстро, задыхаясь, пока не передумала:

— Слушайте, Антон Иваныч. В ту ночь Тихон буфет до утра держал: Кривцов велел. Около полуночи Кривцов пришёл с путей. Шинель мокрая, хоть дождя не было, и руки дрожат. Сунул руки в Тихонов рукомойник, долго мыл. А потом говорит: «Ты меня всю ночь тут видел. С десяти вечера. Понял?» И сунул ему красненькую. А через неделю Ведерников сам пришёл и денег предложил, восемьдесят рублей по векселю. Тихон взял. С тех пор пьёт и молчит. — Она отпустила рукав. — Матушка про деньги говорила… Правда ли?

— Правда. Но не сейчас. Давайте, пожалуйста, быстрее.

Батюшка увёл её через двор, мимо бани, задней калиткой в огороды. Вернулся через двадцать минут, в снегу по колено.

— Довёл до её огорода. Через овраг у Сычёва двора, по мосткам. Она через хлев в избу прошла. Тихона нет, в буфете. — Он сел и долго молчал. — Мокрая шинель в сухую ночь… и руки мыл… Господи, помилуй.

* * *

Антон вышел во двор и закурил. Ясно, звёздно, мороз под двадцать, над хлевом тонкий месяц. У задней калитки две свежие цепочки следов уходили в огороды. На половине папиросы со стороны торговой улицы донёсся колокольчик под дугой и оборвался у кузьминских ворот.

Антон пошёл к купцу неспешно, поглядывая, не идёт ли кто к батюшкиному дому. Никто не шёл. Из калитки мезонина выскользнул Сенька и бегом унёсся в слободку.

Кузьмин, весь в инее, обивал снег у крыльца.

— А, учитель! Сам хотел за тобой посылать. Есть новости. И не все хорошие.

Неверов принял его: молодой, дотошный, глаза как у ястреба. Про ту июльскую ночь и про Гаврилу при вагоне на дальнем пути он всё записал.

— Говорит: «Жандарм не мой, его ведомство — жандармское управление дороги. Но убийство — моё. Будут свидетели — дело открою заново». После Крещения обещал приехать. — Второй палец, и лицо у купца потемнело. — А исправник шепнул: Кривцов неделю назад рапорт подал. В Луховицах проживает беспаспортный, называет себя Сорокиным, подлинность не подтверждена, прошу задержать до выяснения. Исправник положил под сукно, ради меня. Но придёт из Перми ответ, что такого нет, — держать не сможет. Закон.

Антон рассказал своё: про Акима, про Агафью, мокрую шинель, рукомойник, красненькую и вексель неделю спустя.

— Через неделю… — процедил Кузьмин. — Не долг это, Антон Иваныч. Это ошейник.

Решили так. Вексель до срока Ведерников принимать не обязан, и раньше Рождества Тихона не снять с крючка. Но можно показать деньги заранее, чтобы угроза «подам ко взысканию» перестала пугать.

— Тихон у меня в лабазе для буфета товар берёт по вторникам, — сказал Кузьмин. — Пусть Прасковья ему скажет: хозяин звал, после трёх. Он придёт, никто и бровью не поведёт. А я ему деньги покажу. А ты за перегородкой посиди.

— А говорите, у меня светлая голова, Федот Игнатьевич. А сами-то какой план придумали.

Кузьмин расплылся в довольной улыбке.

Глава 15. Вексель

Во вторник у школьного забора, переминаясь с ноги на ногу, стоял Сенька Рыжий.

— Сеня, здравствуй. Отчего не проходишь? Идём скорее, мороз на улице.

Когда он вошёл, класс затих, а потом по рядам прокатилось: «Рыжий… Лапин… Он у Ведерникова на побегушках!» Сенька покраснел так, что пропали веснушки, и шагнул назад, к двери.

— Новенький? — улыбнулась Мария Петровна. — Проходи, валенки обмети.

— На место Феди пусть идёт, — сказал Антон.

Федька Пряхин третий день не ходил: отец не пускал. Сенька сел на краешек скамьи рядом с тихим белобрысым Климом, как на горячую сковородку. Мария Петровна достала из шкафа грифельную доску с треснувшей рамкой и потрёпанную «Азбуку». Клим молча перевернул её Сеньке правильной стороной вверх.

Первым уроком было чтение. Ребятишки читали «Пришла зима» по кругу: Клим по слогам, Ваня Малый в поту, Груня гладко, Егорка ровно. Пока класс читал новый рассказ сам, Антон увёл Сеньку к печке, в дальний угол.

— Я ж не умею, дяденька учитель. Ни одной буквы. Все умеют, а я как дурак.

— Ничуть, Сеня, ничуть. Но я не могу тебя учить, если ты сам не захочешь. Ты хочешь научиться читать?

В глазах у мальчишки был голод, только не по хлебу.

— Хочу. Бумаги читать. Чтоб не обманывали. — И совсем тихо: — Только господин Ведерников, ежели узнает, осерчает. Он мне копеечку даёт, чтоб я при деле был.

Антон предложил ему три рубля в месяц: утром школа, после уроков поручения — бумаги в контору отнести, дров наколоть, почту носить.

— Три рубля? Это ж втрое против моих копеек! — Потом в глазах проступило уличное подозрение. — А за что столько? Мне господин Ведерников копейку даёт, чтоб я глядел, кто к батюшке ходит. И к вам. Вы тоже хотите, чтоб я глядел?

— Никоим образом. Бумаги передать, дрова наколоть, почту носить.

Сенька выдохнул, будто сбросил мешок.

— Только как мне ему сказать? Он вчера, как я сказал, что Агафья к батюшке пошла, мне целый пятак дал.

— Придумаем, Сеня. Не переживай.

Буквы он запоминал по-своему: «А» как шалаш, «М» как две горки, «У» как рогатка. Антон написал рядом «МА» и ещё «МА».

— Ма… ма… Мама, — прошептал Сенька и замолчал. Матери у него не было. Он долго обводил буквы пальцем. — Это я прочёл? Сам?

Потом «О» как бублик, «С» как месяц, «Т» как молоток. «СОМ», «ОСА». На «осе» он засмеялся в кулак: «Летом одна в ухо ужалила».

На арифметике Антон начертил ему таблицу десятков.

— Так это ж как деньги! — хлопнул себя по колену Сенька. — Сверху копейки, слева гривенники! Одна строчка вниз — один гривенник! Я ж это знаю, только раньше не видел, как оно пишется!

* * *

После уроков Сенька спросил, какое будет поручение.

— Сегодня без поручений. На первый раз. Ты и так новому научился.

— Только мне всё одно к господину Ведерникову сегодня надо. Он каждый вечер ждёт, чтоб я сказал, кто куда ходил. Чего мне ему говорить-то?

— Скажи, что наблюдал за школой, а Митрич тебя поймал и насильно усадил за парту, а этот злой учитель заставил учиться.

Сенька прыснул.

— Поверит! А ежели он скажет: раз сидишь там, гляди за учителем?

— А ты и гляди. Вот он я, перед тобой. А Митричу я сам скажу.

До Сеньки медленно дошло, и улыбка расползлась по веснушкам:

— Так я ему говорить буду, что учитель буквы показывает. А больше ничего не видал. — И уже с крыльца: — Завтра приду!

Митрич, выгребая золу, долго смотрел на Антона из-под бровей.

— Силком, значит. Злой Митрич. Ну, злой так злой. Рыжего жалко. Пропадёт у Ведерникова. — Он взял ведро и у двери обернулся. — А ещё, Антон Иваныч. Ночью по задворкам за батюшкиным огородом кто-то шёл. От оврага к баньке. Постоял у плетня и назад. Следы большие, мужские. Там, где Агафья с батюшкой шли.

— Спасибо вам, Дмитрий Ильич, за всё.

Сторож замер с ведром в руке.

— Ишь… Дмитрий Ильич. Меня так последний раз покойница-жена звала.

По пути Антон прошёл по тем следам. Крупные валенки, подшитые кожей, и у каждой пятки ровный рубчик от заплатки. Человек рослый и грузный. У плетня за баней пятачок был утоптан, рядом в снегу лежала горелая спичка, без окурка.

* * *

В кузьминской конторе Антон сел за занавеску перегородки. В десять минут четвёртого на крыльцо поднялся рослый, грузный Тихон Пряхин, красный, с перегаром. Обил снег с валенок о порог, и Антон ясно увидел у пяток аккуратные кожаные заплатки.

Кузьмин выложил на конторку веером восемь красненьких.

— Восемьдесят рублей. Ровно твой долг Ведерникову. Заплачу в срок, на Рождество, у нотариуса. Хоть через его голову.

— Учитель надоумил? — Тихон горько усмехнулся. — Вчерась Агафья моя к попу бегала. Я видал. Ночью следом ходил, до самой ихней бани. Думал… — Голос у него сорвался. — А она, значит, про долг.

Он закрыл лицо ладонями.

— Деньги твои, Тихон. Только одно: правду. Не мне, следователю. Про ту ночь.

— Федот Игнатьич, ты не знаешь, о чём просишь. Я ж тогда уряднику Савельичу под запись сказал: Кривцов всю ночь в буфете сидел. А теперь скажу иначе, так меня первого за ложное показание, на каторгу. И Ведерников знает, что я соврал. Он мне так и сказал, когда деньги давал: «Ты, Тихон, теперь мой». — Он перевёл взгляд на занавеску. — А учитель где? Пусть сам скажет, как мне не на каторгу.

Кузьмин не повернул головы.

— Учителя тут нет. Я тебя звал, мне и отвечать. Ты уряднику говорил не под присягой, на дознании. Каторги за это нет. Неверов прямо сказал: кто сам придёт и скажет, что жандарм угрозой заставил соврать, того не тронет. Ему не ты нужен, ему Кривцов.

— Дай подумать, Федот Игнатьич. До субботы. С Агафьей поговорю. И Агафью больше не трогайте. Ко мне сами, ежели что.

Хлопнула дверь, зазвенел колокольчик.

— Вылезай, учитель. Клюнуть клюнул, а заглотить боится. А ночью, значит, это он за бабой своей шастал. Ревнивый дурак.

Кузьмин тут же написал поручительство: «Ручаюсь за учителя Сорокина, прошу отпустить на моё поручительство». С подписью и печатью на сургуче.

— Пусть у батюшки лежит. Возьмут тебя — он с этой бумагой к исправнику.

— Спасибо, Федот Игнатьевич.

* * *

На повороте к церкви Антон встретил Марию Петровну. Она ходила к Аксинье, Сенькиной тётке.

— Согласилась. Сенька ей уже про три рубля выложил. — Глаза её смеялись, а потом погрустнели. — Только пока я у неё сидела, Фёкла ведерниковская заходила, будто за солью. И сказала: «Хозяин велел напомнить, долг-то к Рождеству». Аксинья ему шесть рублей должна.

Дома Антон отдал матушке деньги и бумагу, и она спрятала их за образ Николы. Про Аксинью матушка сказала решительно:

— Шесть рублей — пустое.

Антон отсчитал свои: всё, что у него было, пять рублей десять копеек и сорок копеек мелочи. Не хватало полтинника. Матушка достала жестяную коробочку из-под монпансье и отсчитала пять гривенников.

— Ты, Антон, всё до копейки раздаёшь, — сказал батюшка. — До жалованья-то доживёшь?

— Бог даст, доживу, батюшка. А помогать надо.

— Ты хоть и из чужого века, а живёшь по-нашему. По-евангельски.

Решили так: Аксинья — солдатская вдова, таким приход перед Рождеством всегда помогает. В четверг после обедни батюшка при людях вручит ей узелок «от прихода». И Ведерникову не к чему придраться.

* * *

Вечером Антон курил на крыльце, когда снизу, от переезда, показался огонёк фонаря. Шинель, фуражка, шашка, позвякивание шпор. Фигура дошла до мезонина, постучала, вошла. Минут через двадцать вышли двое: Кривцов и Ведерников, без шапки. Ведерников кивнул вверх по улице, к церкви.

Кривцов пошёл сюда. Проходя мимо батюшкиной калитки, поднял фонарь, и свет выхватил огонёк папиросы и учителя в тени. Кривцов усмехнулся в усы и пошёл дальше.

— Доброго вечера! — тепло, во весь голос, крикнул ему вслед Антон. — Морозец-то нынче какой славный!

Шпоры смолкли. Кривцов медленно, по-строевому, развернулся.

— И вам доброго, господин учитель. Славный морозец, верно. Вы его берегите, здоровье-то. Неделя-другая, и мало ли где зимовать доведётся.

Он коснулся козырька и ушёл.

— Грех, батюшка, скажу, — сказал Антон вышедшему на крыльцо отцу Василию. — Но кому ещё где зимовать придётся, это вопрос.

— Злорадство — грех, — согласился батюшка. — А правда — не грех. Только ты зверя не дразни без нужды. Злой зверь не умнее, но быстрее.

— Да, батюшка, простите грешного, но не рисковать я не могу. Злой зверь быстрее, это неоспоримо. Но и ошибается чаще. Очень надеюсь, что он не наломает дров.

— Когда зверь ошибается, он не в пустоту бьёт. Кого-то задевает.

Вечером они втроём встали перед образами и прочли «Отче наш». На «остави нам долги наша» батюшка чуть помедлил и бросил на Антона короткий взгляд.

Глава 16. Обыск

В среду Антон вышел затемно и пошёл в школу не прямо, а через торговую улицу. Вечерние следы со шпорами шли от церкви вверх, к избе урядника Савельича с жестяной вывеской «Урядникъ», топтались на крыльце. Потом к кузьминскому лабазу, по задам к окнам конторы. На ставне чернело свежее пятно сажи от фонаря. Потом вниз, к переезду.

Степан расчищал двор.

— А вечером тут жандарм ходил. Вокруг конторы обошёл, в окна светил. Я с фонарём вышел, а он мне: «Проверяю, хорошо ли у купца запирается».

Замок оказался цел, ставни на крючках, под окном ничего, кроме следов.

— Степан, будь осторожен и смотри в оба, пожалуйста.

— Гляжу, Антон Иваныч. Хозяина в обиду не дам. И тебя.

У школы Сенька подбежал и зашептал быстро:

— Я вчера сказал, как вы велели: Митрич злой, силком усадил. Он смеялся! А потом велел глядеть, куда учитель после школы ходит, с кем говорит. И что в карманах носит. А когда жандарм к нему вечером пришёл, меня Фёкла на кухню выставила. Только я в сенях слыхал, как жандарм сказал: «До субботы ждать не стану».

— Спасибо, Сеня.

До субботы — именно такой срок дал Тихон Кузьмину вчера в конторе. Слышали его только трое. Впрочем, суббота могла значить и пермский ответ, и что угодно. Ясно было одно: Кривцов торопится.

* * *

После уроков, когда Сенька натягивал валенки, Антон сказал ему:

— Передай Ведерникову, что учитель какой-то очень нервный был, на окно всё оглядывался, бормотал что-то про «зимовать». И будто бы вроде собирается куда-то, уезжает. Куда — не расслышал, про какую-то деревню говорили. Когда — не знаешь. И знаешь что, добавь: фамилию слыхал. Не-не… Неферов, вроде так.

— А это кто, Неферов-то? — Сенька не стал дожидаться ответа. — Ладно, слово в слово.

И умчался вниз, к мезонину.

Мария Петровна стояла у своей доски с тетрадями в руках. Лицо у неё было бледное.

— Неверов — это ведь судебный следователь из Зарайска. Вы что затеяли?

— Ох, Мария Петровна. Хочу судьбу испытать.

— Вы через Сеньку Ведерникову неправду передаёте. Я ж не глупая, Антон Иванович. А вы подумали, что с Сенькой будет, если Ведерников догадается? Ему десять лет. И кроме тётки, никого. — Голос её дрогнул. — Скажите хоть, чем помочь. Или чего мне бояться.

— Обещайте молчать, пожалуйста.

Она повернулась к иконе и перекрестилась.

— Обещаю. Перед Богом.

И Антон рассказал ей всё, кроме того, откуда он сам: про Фому, шедшего трезвым к хвосту поезда; про Кривцова, вернувшегося один; про рукомойник и красненькую; про вексель Ведерникова и Акима, которого запугали пенсией; про Неверова и рапорт исправнику. Когда речь дошла до Егорки, Мария Петровна прикусила губу до капли крови.

— Егоркин отец, — прошептала она. — А я его с осени учу и не знала. — И выпрямилась, и в глазах у неё была тихая учительская злость. — Вам, мужчинам, к Агафье, к Аксинье, к

Прасковье ходить нельзя: разговоры. А мне можно, у меня их дети. Что передать, что узнать — через меня. И Сеньку я при школе держать буду, чтоб к Ведерникову поменьше бегал.

— Спасибо, Мария Петровна. Просто спасибо вам.

Она чуть коснулась его рукава.

— Вы ведь тоже за них. Как же я в стороне? Берегите себя. Пожалуйста.

* * *

Бегать Антон не собирался. Замысел был в другом: пусть сами придут с обыском и сами себя покажут, а он будет у купца, и чтобы никто не видел, как он туда ушёл.

Жандарм в селе сам обыскивать не вправе, только через урядника, с понятыми и протоколом. Деньги в божнице у беспаспортного жильца легко объявить краденными. Поэтому батюшке с матушкой он всё рассказал, а деньги, восемьдесят и шесть рублей, матушка связала в один узелок и сунула ему за пазуху. Поручительство Кузьмина батюшка оставил себе.

— Савельич мой прихожанин, сорок лет его знаю. Без бумаги ко мне в дом не полезет. Иди, как стемнеет. Огородами, по Агафьиной тропе.

В четыре Антон вышел задней дверью. Через огороды, через мостки у Сычёва двора, задворками слободки, мимо бани, откуда распаренная баба выглянула на собачий лай, к задней калитке кузьминского двора. Степан молча впустил его.

— Ну ты, учитель, отчаянный, — сказал Кузьмин, выслушав, и запер узелок в железную шкатулку. — Медведя за ухо дёрнул.

Он задул лампу и отодвинул ставню на щель: наискосок через улицу светилось окно урядника.

В шесть на станции прогудел вечерний на Москву. «На поезде тебя ищут, небось», — хмыкнул Кузьмин. В половине седьмого снизу улицы быстро поднялся огонёк фонаря, звякнули шпоры. Кривцов постучал к уряднику кулаком. Через десять минут вышли двое: Кривцов и Савельич, плотный пожилой урядник в тулупе поверх мундира, явно нехотя. По дороге Савельич стукнул в окно соседа, и оттуда вылез заспанный мужик в армяке. Понятой. Все трое пошли вниз, к церкви.

— Федот Игнатьевич, если что — я был у вас.

— Был. С обеда сидели, книги за ноябрь сводили. И не соврём.

Через три минуты Антон вышел через передние ворота, открыто, и пошёл вниз по улице.

* * *

На батюшкином крыльце, загородив собой дверь, стоял отец Василий без шапки, с наперсным крестом на груди. Перед ним на ступенях мял шапку урядник. Понятой топтался у калитки. Кривцов стоял внизу, положив руку на эфес.

— …а бумага твоя где, Пётр Савельич? Постановление от станового? Нету? Так ты, сын мой, в дом священника ночью, по слову жандарма, без бумаги пришёл?

Антон подошёл неспешно, руки в карманах, будто с прогулки. Первым его заметил понятой и толкнул урядника. У Кривцова лицо налилось краской от воротника до ушей.

— Это ж учитель, — пробормотал Савельич. — Вот он. Не сбежал.

— Сорокин. Где вы были?

— Добрый вечер, господа. А что случилось? Давайте хоть в дом зайдём, не на морозе же стоять. Правда ведь, батюшка?

— Милости прошу, коли с миром пришли, — громко сказал отец Василий, глядя на Кривцова. — В гости. Не с обыском.

— Я спросил: где вы были весь вечер, господин учитель? С двух часов.

— Господин унтер-офицер, я разве на допросе? Или вы пришли в дом батюшки не как гость?

Вопрос попал точно, Кривцов на миг растерялся.

— Сведения были, что вы нынче из Луховиц бежать собрались. Беспаспортный, да ещё свидетель по делу. Мне доложили, что вы вещи собираете…

— Кто доложил? — спокойно спросил с крыльца батюшка.

— Это служебное дело, отец Василий.

— Служба твоя, Кривцов, на станции. А тут село, моё да урядниково.

— Господин унтер-офицер, ну разве я похож на спешно отъезжающего? Ежели хотите допросить — пожалуйста. Только вот мы не на станции. Так кто, говорите, вам доложил?

— Источники мои — не ваше дело. А то, что вы здесь, а не в вагоне, лишь значит, что не успели.

Тут Савельич наконец нахлобучил шапку:

— Ну вот что, господин унтер-офицер. Учитель на месте. Не бежит. Бумаги на обыск нету. Мне с отцом Василием ссориться не с руки. Да и с купцом Кузьминым тоже. Пошли, Ерёма.

Кривцов долго смотрел на урядника тяжёлым взглядом.

— Из Луховиц ни ногой, Сорокин. До пермского ответа. Пётр Савельич, вы свидетель, что я предупредил.

— Это звучит как угроза, господин унтер-офицер.

Кривцов, отошедший шагов на пять, остановился спиной.

— Угроза? Нет. Предупреждение. Законное. Беспаспортному отлучаться без ведома полиции не дозволяется. А угрожать я не умею. Я сразу делаю.

— Да-а, — протянул Антон. — Мы видим, как вы сразу думаете, господин унтер-офицер.

Огонёк фонаря дёрнулся посреди улицы, будто рука сжалась, и поплыл дальше, а шпоры зазвякали злее. Савельич фыркнул в усы и прикрыл рот рукавицей.

— Где ж ты был-то, Антон Иваныч? Мне для порядку.

— Сначала в школе, потом у купца. Я у него работаю.

— Ты, Антон Иваныч, на меня зла не держи, — понизил голос урядник. — Он мне велел за тобой глядеть. Я ему: не твой я подчинённый. Не люблю я его. Из-за таких на всю полицию народ косится.

* * *

— Урядника ты на нашу сторону перетянул, — сказал батюшка дома, задвинув засов. — А Кривцова опозорил. При уряднике, при понятом. Такого он не простит. Теперь ему не просто тебя убрать надо, а себя перед людьми поправить.

— Простите, батюшка, но не рисковать я не могу. Злой зверь быстрее, но и ошибается чаще. Очень надеюсь, что он не наломает дров.

— Будем молиться, чтоб не наломал. — Он кивнул на лавку. — А ту вещицу, что у тебя под тюфяком, прибери получше. Матушка видала, говорит, стеклянная какая-то.

Антон переложил пустой корпус ручки во внутренний карман, к остальным своим «чудным» вещам.

На крыльце Митрич, хрипло смеясь в бороду, сказал:

— «Мы видим, как вы сразу думаете». Ерёма уж, небось, своей бабе пересказывает. — И серьёзно: — А жандарм-то не на станцию пошёл. До мезонина дошёл, и пустили.

— И это хорошо. Пущай понервничают.

Но Антона грызла одна мысль: Сенька принёс Ведерникову «учитель уезжает», а учитель спокойно вернулся с прогулки. Самому идти в слободку ночью было нельзя. Он попросил

Митрича сходить к Аксинье, будто от батюшки, позвать её в четверг в храм и глянуть, цел ли Сенька. Если там Кривцов — сразу назад.

Митрич вернулся через сорок минут.

— Аксинья дома, дети дома. Чужих нету. И Сенька дома. Только ухо у него распухшее, красное. Ведерников оттаскал. За то, что «враньё принёс»: учитель-то никуда не уехал. Сказал: ещё раз соврёшь — в работный дом отдам. Сенька на печи сидит, молчит, а глаза злые.

— Ну ладно. Цел, главное.

— Цел. Уши у мальчишек заживают. Только теперь Ведерникову ему веры нету.

Глава 17. Уголь

В четверг утром выяснилось, что своих денег у Антона не осталось ни копейки, а шесть рублей для Аксиньи вчера уехали к Кузьмину вместе с восемьюдесятью. Он сбегал к купцу затемно.

Кузьмин отдал платочек с Аксиньиными шестью рублями и сверху положил трёхрублёвую бумажку.

— Рубль — это что, на махорку? Бери три, до жалованья. В книжку запишу. — Он хрипло рассмеялся. — А вчерашнее я уж слыхал. Жандарм с урядником учителя искать ходили, а учитель с прогулки пришёл да над жандармом посмеялся. Пол-села знает.

Платочек Антон по дороге отдал матушке.

У школы, у забора, отдельно от всех стоял Сенька. Левое ухо красное, распухшее, шапка натянута набок. Увидев Антона, он не подбежал, как вчера. Посмотрел исподлобья и отвёл глаза.

Весь урок арифметики он молчал. Даже когда класс решал задачу про копейки, ту самую, где он был лучше всех, не поднял руки. На перемене Антон остановил его и отвёл к печке.

— Прости меня, Сеня. Ей-Богу, прости.

Мальчишка вздрогнул, будто его ударили, а не извинились. Взрослые перед ним не извинялись никогда. Антон осторожно протянул руки. Сенька посидел каменно, а потом обмяк и уткнулся ему в плечо. Не плакал вслух, только плечи под зипуном мелко тряслись.

— Я ему не сказал, — прохрипел он потом. — Он драл, а я не сказал, что вы велели. Сказал: сам слыхал, сам перепутал. А мне теперь как? Он в работный дом отдаст. А тётке без моих копеек никак.

— Не переживай, — очень тихо сказал Антон. — К нему больше ни ногой, обещай мне. Вот тебе рубль за то, что не раскололся. А про долг тётки твоей я знаю. Бог даст, продержимся.

Сенька взял рубль и долго разглядывал, будто не верил.

— Это ж больше, чем он мне за весь месяц давал. — И вдруг схватил Антона за рукав: — Я ещё слыхал. Вчера, как жандарм от батюшки злой пришёл, они с Ведерниковым на кухне говорили, а я на печке был, думали, сплю. Жандарм сказал: «Урядник не пошёл, тряпка. Завтра в Зарайск поеду, к становому. С ним приду, с бумагой». А Ведерников ему: «Не торопись. Я сначала Тихона прижму. Ежели Тихон заговорит, тебе крышка, а мне тоже».

— Спасибо, Сеня. Беги, перемена почти прошла.

Через окно было видно, как Петька кинул в Сеньку снежком, а тот залепил ему прямо в шапку.

— Становой — это уже не Савельич, — сказала Мария Петровна. — Становой пристав — власть на весь стан. С ним и бумага будет, и понятые.

С бумагой обыскивать станут и самого учителя. А при нём было всё, что он принёс из своего времени: телефон, пустой корпус ручки, ключи, жвачка в фольге с латинскими буквами. Дом батюшки — первое место, куда посмотрят. Значит, нужно место, на которое на него никто не подумает. Антон завернул всё в газету и в носовой платок и попросил Марию Петровну спрятать свёрток в её шкаф.

Она долго смотрела то на свёрток, то на него.

— Вы обещали не говорить, откуда ваши беды. Я и не спрашиваю. — Свёрток оказался тяжелее, чем она ждала. — Только скажите: это не краденое? И не бомба?

— Бог с вами, Мария Петровна. Ничуть. Всё моё.

Она заперла свёрток под стопкой «Азбук», а ключик на шнурке спрятала за ворот платья.

На большой перемене в окно было видно, как после обедни батюшка у паперти при всех вручает худой бабе в солдатском платке узелок, а та кланяется в пояс и плачет.

* * *

— Жандарм-то поутру санями в Зарайск укатил, — прохрипел Митрич, выгребая золу после уроков. — К становому, не иначе. К ночи воротится, а то и завтра.

Антон побежал к Кузьмину. Тот, услышав про станового и про то, что Ведерников собирается прижать Тихона, вскочил так, что опрокинул счёты:

— К Тихону сам пойду. Пока жандарма нет. Скажу: хватит думать, суббота отменяется. Степан, запрягай! В Зарайск поедешь, к исправнику и к Неверову!

Сам Антон пошёл к Яшке. Тот сидел в телеграфной, в наушнике.

— Пришло?

Яшка мотнул головой.

— Не пришло ещё. Только вчера поздно Кривцов прибегал, злой как чёрт. Велел отбить в Пермь ещё одну. Содержание не скажу, присяга. Но в начале стояло «срочно», а в конце «прошу ответ телеграфом». Значит, придёт быстро. И через меня. — Он посмотрел прямо. — Я ведь обязан буду отдать. Вы мне скажите честно: вы кто?

Аппарат на столе застучал. Яшка схватил ленту, побледнел, но это оказалась служебная: товарный номер сорок семь опаздывал на час двадцать.

— Так кто вы, Антон Иваныч? Мне ж выбирать, на чьей я стороне.

— Я не могу пока сказать тебе, Яша, извини. Выберешь не мою сторону — я не обижусь. А коли удастся прижать Кривцова и Ведерникова, всё расскажу.

Яшка долго смотрел на него.

— Другой бы стал врать. — Он задвинул щеколду и достал с полки толстый журнал дежурств. Открыл июль. — Глядите. Ночь, когда Фома погиб. «0 ч. 40 м. Отправлена служебная депеша по требованию унтер-офицера Кривцова, в Коломну». Моей рукой. А депешу я не отправлял. Не было её. Он пришёл в половине первого, мокрый, руки трясутся, и велел записать, будто был у меня и диктовал. Я и записал. Струсил. — Он постучал пальцем. — А урядник Савельич, я слыхал, со слов Тихона записал, что Кривцов всю ночь в буфете сидел. Так он что ж, разом в двух местах был?

— Интересно получается. Спасибо, Яша. За мной долг. Рассказ, когда всё утрясётся.

— Только эта запись и мне петля. Служебный подлог. Но журнал я сберегу. Никому не отдам, кроме следователя.

* * *

Кривцова на станции не было. А у Антона в голове уже был план, как тогда, со словами мелом на кузьминских бочках.

У угольного склада возле водокачки он подобрал пару кусков паровозного угля и встал в тень под навесом. С этой стороны жандармский домик стоял глухим торцом с одним окошком, закрытым на ночь ставней. Окна, где ходила жена, смотрели на перрон.

Около четырёх, уже в темноте, с рязанской стороны загудел опаздывающий сорок седьмой. Паровоз вполз на станцию в облаках пара, загрохотали вагоны, из буфета высыпали глазеть. Антон в шесть шагов оказался у ставни и, нажимая так, что уголь крошился, вывел крупно, в четыре строки, с «і», как тогда писали:

УБІЙЦА.
ДАЛЬНІЙ ПУТЬ.
ПОЛНОЧЬ.
Я ВСЕ ПОМНЮ.

На последнем слове грохот стал стихать. С перронной стороны скрипнула дверь, и женский голос крикнул: «Матрёна, неси лампу, у нас снег с крыши…» Шаги остались по ту сторону дома. Антон бросил уголь в снег и ушёл в тени уходящего состава, через угольный склад, где следов и так тьма, потом вдоль путей к водокачке, через пустырь и задами к оврагу. Там он сел на корточки и долго тёр руки снегом, пока снег не стал из серого почти чистым. Только под ногтями осталась тёмная каёмка.

Потом он повесил фонарь у поленницы, поставил колоду у самого плетня и колол берёзовые чурки полчаса, громко, чтобы видела вся улица. Бабы у колодца судачили, мужик с саней крикнул: «Бог в помощь, Антон Иваныч!» Батюшка выглянул на крыльцо, увидел колун и рукавицы и молча ушёл обратно.

* * *

Без четверти шесть к калитке подкатил Кузьмин.

— Опоздал я, отец Василий. Ведерников у Тихона в обед уже побывал. Сказал: «Купец тебе деньги сулит? Так я про твою июльскую брехню уряднику первый расскажу». Тихон трясётся. Час я его уламывал. Согласился. Завтра на рассвете сам его в Зарайск везу, к Неверову.

Он покосился на Антона с хитрой искрой:

— А ещё, как сорок седьмой ушёл, жена Кривцова в буфет прибежала вся в слезах: на ставне, говорит, углём написано. «Убийца. Дальний путь. Полночь. Я всё помню». Народ побежал глядеть. Тихон как прочёл, чуть не упал. Ерёма говорит: Фомина душа пишет. — Он посмотрел на руки Антона в древесной смоле. — Ты, учитель, дрова-то давно рубишь?

— Да давно уже. Не батюшке же с матушкой колоть.

Антон рассказал про журнал Яшки, про запись «0 ч. 40 м.».

— Попался! — Кузьмин хлопнул по столу. — По Тихону он с десяти в буфете сидел, а по журналу в ноль сорок у телеграфиста депешу диктовал! Это не слова, это бумага!

— Только на той бумаге Яшкина рука, — сказал батюшка. — Подлог.

— А если сказать, что не Яша писал, — предложил Антон. — Отошёл, мол, по нужде, как раз в час записи.

— Ложью ложь не побьёшь, — тихо сказал батюшка.

— Да и не выйдет, — добавил Кузьмин. — Неверов почерк сличит в два счёта. Пусть правду говорит: велел жандарм, грозил, струсил. Свидетель, что сам пришёл и повинился, дорогого стоит.

Когда Кузьмин уехал, батюшка долго стоял у окна спиной к Антону.

— «Я всё помню», — тихо повторил он. — От имени Фомы, значит. Я тебе ещё в ноябре говорил, когда вы в амбаре покойником рядиться задумали: над мёртвыми не глумятся. Фома в земле лежит, а ты его голосом жандарму пишешь. — Он подошёл и положил Антону на плечо тяжёлую, тёплую руку. — Сделанного не воротишь. Но завтра поставь за Фому свечку. И попроси прощения. Не у меня, у него.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.